

Владислав БАХРЕВСКИЙ

г. Москва

*Владимиру Фёдоровичу Шальнову и селянцам,
строителям атомного щита страны.*

Докторская колбаса

На восемьдесят втором году жизни Владимиру Фёдоровичу Крыгину хуже нытья в спине, до миражей возжелалось докторской колбасы.

— Во-ло-дя! — досадуя на старческую блажь мужа, тихим голосом, но чеканно, молвила Наталья Ивановна — стало быть, допёк. — Советский Союз — аук! Вот уже двадцать третий год — аук!

— Двадцать третий год, — повторил за супругой Владимир Фёдорович.

Он сидел на любимой табуретке, нога за ногу, сцепив пальцы на коленке, — смотрел на стеллаж с книгами — тоскливо.

За двадцать три года всё, что было советского, каждодневного, размылось, а книги — явь. Торжествующее свидетельство уровня советского человека, драгоценность 50–70-х годов. Для нынешних обитателей квартир, особняков книга — досадное неудобство. Держать дома — несовременно, а выбрасывать приходится таясь. Мусор аккуратный, да всё-таки стыдно... Лучше, чтобы тебя не видели выбрасывающим в бак тридцать томов Диккенса, тридцать томов Достоевского и зелёную прорву Чехова, Тургенева, Пушкина...

Владимир Фёдорович самолично лазил в бак за Гёте и за полным собранием Пушкина.

С чем только не покончили!

С галошами и совестью.

С любовью и сатином.

С милицией, с образованием...

С грамотностью идёт расправа, с мозгами. Но вот ведь в чём несурзность... Глаза глянут на пятиэтажки из серого кирпича, на клуб «Мечта», на пожилого прохожего, заставшего время, когда их посёлок по причине чрезвычайной секретности на картах СССР обозначать восп-

СТОЛПЦЫ

повесть

решалось строжайше — ноздри, не спросясь, воздух в себя тянут.

Нынешнюю колбасу, сырокопченую, сервелаты, даже в колбасном отделе не унюхаеть. А ту, за которой в очередях стояли, слышно было даже на вокзальной площади за добрую версту. До магазина топтать да топтать, и магазин-то — павильончик, но запах на все пятнадцать республик.

Владимир Фёдорович Наталье Ивановне хотения свои не открывал, крепился. Единственный раз брякнул, объясняя невесёлое настроение, да у Натальи Ивановны сердце понятливое. Бабье.

Он ведь даже подтрунивал над собой.

— В детство впадаешь, товарищ пенсионер!

Очень ему хотелось отгородиться от теперешней жизни. Детством так детством. Но Бог дал ему голову ясную, здоровье русское. Крестьянского корня отросточек.

А вот наваждение никак не унималось. Взять бы и купить! Однако у Натки насчёт еды строго. Она и мясо отвергает: могут кенгуриное подсунуть. На индейку тратится.

Поймал себя как мальчишку-воришку. В старых вещах повадился копать: колбасный дух вынюхивал. Такая несусветная дурь!

Нет, не урезонил себя. Однажды прснулся на мокрой подушке: во сне плакал.

Маленько в себя пришёл — вспомнил сон. На зоне за тройное перевыполнение плана его поощрили батоном докторской колбасы. Микояновской, когда в колбасу мясо клали. Поддержать поощрение, пока он руки вымоет, взялся конвоир и ушёл, унёс.

Владимир Фёдорович не мог понять, это всё тогда было или теперь пригрезилось.

В магазины не ходил с 91-го и газет не читал с 91-го. Но спятить, тоскуя по колбасе?

Сидя на табуретке, на дедушкиной, разглядывая тома Вальтера Скотта, уж такие розовые! Коричневые, толстые Бальзака, переводил глаза на полку, где стояли книги, посвящённые живописи. Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Феофан Грек, Пуссен, Васнецов-старший. Здесь же в картонной коробке книга-награда. За окончание школы поощрили. Георгий Леонидзе «Сталин. Детство и отрочество. Книга первая».

Наталью Ивановну он довёл до строгости глупейшим признанием, отказываясь от обеда.

— Ничего не хочу. Колбасы бы. Советской.

Встревожил глупостей своих ради...

А Леонидзе не читал. Столько лет стоит. Взгромоздился на табурет, снял с полки книгу, вынул из футляра. Открыл.

*Не сидел на кровле ястреб,
И орлы не клекотали.
Крылья птахи над лачугой
Мёрзлым бисером блистали.*

Сталина с птахой мерзлой сравнивает?..

Сверху красными буквами — «Рождение», чуть ниже эпитафия: «По восточному преданию, когда рождался великий человек, на кровлю его дома садился ястреб, а в воздухе был слышен клёкот орла».

Интересно, куда это Леонидзе гнёт...

*Птахе холодно, как людям,
В стенах, снегом занесённых,
Плотный снег лежал повсюду,
Словно шерсть на веретёнах.
Только крикнули соседи:
— В околотке нашем тёмном
Чудный мальчик появился,
Поздравлять отца пойдём мы!*

Перевернул страницу.

*Петуха тут в дом приносят, —
Бдительным пусть мальчик будет,
Ласточку у рта проносят, —
Как она, пусть быстрым будет.
Ставят соль у изголовья, —
Пусть он мудрым в жизни будет,
Сахар на сердце положен, —
Пусть он добрым к людям будет.
Под луной он спит погожей, —
Пусть он крепкотельным будет.
В колыбель кладут железо, —
Непоколебимым будет.*

И железным был, и ночами не спал. А вот сахар в грузинских селениях был, скорее всего, редкостью. Соли принесли вдоволь.

— Вдоволь, — твёрдо сказал Владимир Фёдо-

рович и, держась за стеллаж, сошёл с табуретки на пол. — Всё! Край!

Ноги — в сандалии, Дашку — на поводок. Совсем не в урочный час пошёл выгуливать.

Дашка — лайка. Умница. Свернули не в ту сторону — стала оглядываться на хозяина. Однако не перечила. Собаку Владимир Фёдорович привёл к трём магазинам. Привязал к чугунной изгороди, голову — в плечи, сам от себя, должно быть, скрывался — и нырнул в «Копеечку». Авокадо, ананасы, вина французские, итальянские, чилийские! Пялиться на изобилие не стал, скорее к колбасе.

— Взвесьте, пожалуйста!

— Сколько? И чего?

— Докторской. Полкило.

— Какой?

Владимир Фёдорович глаза сощурил, вглядываясь в прилавок.

— Матушки вы мои!

Цены проставлены крупно.

«Докторская экстра» — 275, «докторская черкизовская» — 254, «докторская павловская» — 245, «докторская останкинская — матат» — 244... А копчёные так и вообще по 800!

— Давайте «Экстры» граммов триста.

Сотня с собой была.

Вид у колбасы зовущий. Запаха, правда, не ощутимо. Вышел из магазина — Дашка смотрит, но хвостом не помахивает.

— Тебе первой! — подольстился к лаечке Владимир Фёдорович. Перочинный нож он всегда брал в лес.

Отрезал, не жадничая, освободил от чехла. Ему показалось, колбаса упакована в чехол и чехол этот явно не съедобный. Положил толстое манящее поленце на траву. Лайка голову вежливости ради нагнула к угощению и попятилась.

— Та-ак! — сказал Владимир Фёдорович, он собирался съесть весь ломоть, но теперь отрезал ломтик.

Колбасы в колбасе не ночевало.

Быстро пошли с Дашкой к лесу. Возле «Мечты» увидели собаку. Вольную, ничью. Дашка гордая, попусту не лает. Дворняга тоже знала себе цену.

— Милая, держи! — окликнул собаку Владимир Фёдорович, кинул половину оставшейся покупки.

Дворняга благодарно завиляла хвостом,

скакнула к царственному дарению. Обнюхала и отошла.

— Собаки не едят! Из чего же, колбаса, тебя состряпали враги народа?

Шёл за Дашкой и не знал, что делать с остатком. Бросить — неудобно. Намусоришь. Собаки не берут. Кошкам такая еда подавно ненужна.

Дашка рванулась, залаяла. Белка! Владимир Фёдорович, пытаясь поймать выскользнувший поводок, уронил колбасу. Глянул — никого. Не стал поднимать обронённое.

Домой вернулся повеселевший. Изобилие империи новых русских, судя по докторской колбасе, — паскудство.

Наталья Ивановна сидела у телевизора. Показывали полки с винами и объясняли: всё, что на этих полках, — жульничество. Кричащие марки, цены европейские, а товарец наш, родненький — подделка. В винах нет винограда, а вино без винограда — пойло.

И вдруг Гайдара показали. Губками шлёпает, сквозь щёки пионер умненький проступает, чело министра, телеса буржуина. О колбасе соловьём разливается. «При коммунистах за колбасой стояли очереди, в нынешней России, в его, буржуинской, — колбасный рай!»

— В журнале «Коммунист» работал, — сказала Наталья Ивановна.

— Сволочь! — согласился Владимир Фёдорович.

— Зачем так! Они своё стряпали тишком и состряпали. Он ведь лицо современной России.

— Морда! Его детей и правнуков приговорить бы к пожизненному жранью ихней колбасы без мяса!

Плюнул и застыл, глядя на своё безобразие. Пошёл на кухню, принёс ведро с водой, тряпку. Тёр пол до дыр.

— Ну, довольно! — Наталья Ивановна испугалась за своего старика: весь на нервах. — Володя, Гайдар — прошлое. Зачем накручиваешь себя? По инсульту соскучился?

Отнёс ведро и тряпку, вымыл руки, смотрел виновато.

— Не сердись. Я знаю: они сами себя прокляли. Ельцин, Гайдар, Бурбулис, Лужков, Мышовец и обаятельная скотина Черномырдин.

Сел рядом, на любимый диван: у внучки, когда привозят, здесь царство...

— Гайдар, который писатель, в шестнадцать лет

— кровавый палач. Задурили мальчишку, интернационалу служил. А дар ему был даден от Бога. Я в тимуровцев не играл — блокада, колхоз... Но хорошее это дело — страну любить, помогать женщинам, у которых мужа на фронте, у которых дети малые... Но сам-то Тимур Аркадьевич на отцовском покаянии, без войны и не служа в армии, в адмиралы выбился. А мразь — внучок...

— Бог с ними! — Наталья Ивановна погладила по плечу своего Владимира Фёдоровича. — Давай чайку заварим. Я нынче из калины варенье сварила.

— Калина-малина! — Владимир Фёдорович улыбнулся. Хорошо улыбнулся. — Сразу вспоминается Кан. Как мы этот Кан перекрывали. Господи! Господи!

— Володя! — смотрела уж такими синими. Ради этой синевы и самому нужно быть как небо.

— Натка!

— Вон твоя карта! — У них до сих пор поверх ковра — карта СССР. — Вся страна — твоя работа. И в заграницах есть где флажки поставить... Таинственный ты у меня человек. Господи, сколько ты сделал для страны!

— Волю зарабатывать, — сказал Владимир Фёдорович, глядя на свои ладони.

— И это было... Я твою жизнь до минуточки знаю. Сколько прожито, столько и пережито.

— Одного всё-таки не знаешь. — Владимир Фёдорович почему-то вывернул карманы брюк, пустые. — Я ведь Васей был.

— Как Васей? — растерялась Наталья Ивановна. Глаза у неё снова насторожились.

— Не смотри так... Я в здравом уме. Скрыл от тебя, потому что струсил. Уж очень ты была мне дорога. Жить с этим, Натка! — Головой вскрутил. — Короче говоря, Васей я был четыреста шестьдесят четыре дня. Сколько тут минуточек-то?

Обняла Наталья Ивановна своего Володю Фёдорыча, плакала счастливыми горькими слезами.

— Что ж ты один-то носил в себе это? От меня тайлся? Мы Богу обещали делить посланное нам на двоих. И казну, и казни...

Уж так разволновалась, замесила тесто, пирожков напекла, с рисом, с яйцом, с яблоками.

Пирожков отведали уже перед сном, хоть сытость сну помеха. А когда легли, всё-таки спросила:

— Не поняла одного, Васей-то почему тебя окрестили?

Владимир Фёдорович помолчал, но откликнулся.

— Подождём, Наташа! Когда-нибудь само собой скажется.

Вдохнул. И уже посапывает. Словно бы намучился, а теперь полегчало. Вдохнул легко, но Наталья Ивановна знала цену лёгкости таких вздохов Владимира Фёдоровича.

Фары из-под воды

Сквозь смрад сгоревшего в дизелях мазута, через удущье казённого, на себе носимого: робы, ушанки, засаленных рукавиц, вонючих валенок — хрустальная чистота мороза и воли. Мороз и воля на тысячу вёрст.

В одну сторону, направо. В сторону Студеного, по-старому — Святого моря. Воля, вот она, да от неволи никуда не денешься. Прёт замороженной дорогой по Обской губе — шестьдесят три трактора и начальник на «Побед».

Радуясь нежданной затычке, Вася расстался с кабиной, спрыгнул на ослепительный снег. Дорогу перемело, агрегат пробивает очередной туннель.

Академик тоже покинул свой трактор. Скорее всего ради Васи.

— Глаза береги! Роговицу обожжёшь.

Академик и впрямь был великая шишка в науке, а Вася Васей не был. Кликуха. Васей Блаженным наречён за хождение босиком по снегу ради работы — ради ста процентов и полной пайки.

Для воров всё это крестьянская упёртость. Шестёрка трудового народа, дурь. Но мороз-то за тридцать, и без валенок — украли. Без бушлата — вытряхнули из бушлата, чтоб опаматовался. А парнишка — через сугробы в лес, на работу, на верную смерть.

От такого у пахана в паху вышло защемление. Вернули психа. Одели, обули. Отпустили вкалывать. И ничего — по сей день пайку зарабатывает полную. Живёхонек.

— Вася! Ты обещал мне о кувяках рассказать. Доберёмся до места — не забудь.

Академик улыбался, подставляя лицо солнцу. За глаза ему не страшно — у него чёрные очки.

Впереди взревели дизелями тракторы. Академик и Вася кинулись к рычагам. Колонна тронулась, пошла, но агрегат, пробивший туннель, остался на льду. Неволя, она такая. Очень нужное может бросить — себя выказать.

Безобразия и выламыванье — всё равно что наколка.

«Победа» начальника краем дороги полетела в голову колонны. Тракторы снова встали. Начальник послал за агрегатом Академика.

Трактор сполз с замороженной дороги на лёд. Сияние из белой пустыни нестерпимое, будто Бог сошёл с неба. У Васи сердце ёкнуло. Смотреть на такой снег и впрямь что на Бога, на солнце. Но Вася всё-таки посмотрел и за мгновение перед тьмой в глазах увидел. Крестом себя осенил: ничего другого не успел для Германа Эмильевича. Беда быстрее мысли. Увидел кабину, уходящую в чёрную воду.

Тишиной накрыло, как смертью. И Васю, и колонну. Но тишина — жизнь. Смотрели.

Полынья издали чёрная.

Кто был ближе, видели в полынье свет. Вода над трактором будто линза.

— Самусь! — позвал начальник.

Снег под валенками бежавшего скулил.

— Промерь глубину!

О трактористе, о Германе Эмильевиче, об Академике — ни слова: картина понятная.

— Десять метров! С сантиметрами.

И опять немота.

— Тому, кто подцепит трос, скощу половину срока. Слово коммуниста.

— Такое ведь было! — вырвалось у Васи.

Теперь все, кто стоял под тем небом, смотрели на него. Непонятное сморозил. Вася смутился, но улыбнулся братьям по-своему, во всё лицо. И, как всегда, виновато.

Братаны на щедрость начальника ни гу-гу.

— Попробую! — сказал Вася.

— Тебе же полтора года осталось! — заорал Чёрт. — За девять месяцев на тот свет?!

— Германа Эмильевича достать, — Вася опять-таки улыбался.

— Нужно спасти трактор! — уточнил задачу начальник.

— Само собой, — согласился Самусь.

Начальник поднял глаза на Васю. Глаза у

старшего лейтенанта серые. В них столько же места, как в белой пустыне.

— Идёшь?

— Иду, товарищ начальник!

«Гражданина начальника» старший лейтенант не терпел. И «старшего лейтенанта» не терпел. Он — не тюрьма, он — строитель. Но такое уж ведомство. Впрочем, сыпал приказами как начальничек.

— Новые валенки! Ватные штаны! Полушубок! Спирт! — и вдогонку: — Самусь! Верблюжьи носки! Бельё не забудь.

Васю подвели к полынье: поглядеть, примериться.

Перевязал тесёмки на шапке, чтоб шапку течение на глаза не надвинуло.

— Течение могучее! — сказал начальник.

Васю обвязали верёвкой, вложили в руки крюк.

— Десять метров! — напомнил Самусь, капитан с Азова. Он пароход утопил.

Вася снял рукавицу, перекрестился, улыбнулся, шагнул в полынью.

Когда рвался вниз, ему светили фары. Той самой полуторки. Крюк сцепил с крюком, рванулся вверх, а снизу — он это видел — фары. Свет фар вытолкнул его из воды. Головой о лёд ударился. Снесло-таки. Но начальник людей берёт. Вытащили. Отнесли в «Победу». А чтоб неудобства от такого мокрого поменьше было — растелешили на морозе. Содрали валенки, робу, штаны. Шапку водитель выкинул. Нижнее бельишко всё-таки в машине с него стягивали. И дальше шло честь по чести. Дали стакан спирта, разведённого и на меду.

Тёрли махровым полотенцем. Облачали.

Спирт, да на меду, для непьющего и никогда не пившего средство сильное и благотворное.

Когда Вася проснулся, не мог вспомнить, почему он в машине начальника, чего ради?

И тут начальник спросил:

— Вы давеча сказали, что такое уже было. Где было?

— На дороге жизни, — ответил Вася. Он тотчас всё вспомнил и вернулся в нынешний день. — Нас вывозили на трёх полуторках. Наша была как раз третья. Первая прошла, а вторая — под лёд. Мы-то уцелели, тормознули, но попади в полынью — не выбрались бы. Кузова бре-

зентом затягивали. От мороза, от ветра. Я шель всё-таки проделал. Видел фары из-под воды.

— Вы, оказывается, блокадник!

— Нас вывезли за три недели до прорыва...

— А в блокаде вы были...

— Восемьсот пятьдесят один день. В местах заключения — шестьсот четырнадцатый.

— Вы дни считаете? — изумился начальник.

— Так ведь жизнь... из дней. Мы и в Ленинграде считали...

Недоговорил...

Фары из-под воды искали небо, но по небу металась прожектора, на крышу сыпались зажигалки. Тоже приходилось метаться.

У тёти Зины из домоуправления таких, как он, шестнадцать гавриков. Светка была моложе его на два года, единственная девочка в их команде. Ребят тётя Зина собрала разновозрастных. Кому четырнадцать, а кому одиннадцать. Ему уже исполнилось тринадцать.

Ожидая налётов, сидели в домоуправлении, слушали по радио товарища Жданова. Жданов говорил всегда спокойно, говорил правду. Где хуже, где очень трудные бои. И о хорошем. На каком рубеже отбили все атаки, сколько у немцев за день танков сгорело, сколько сбито самолётов.

Речи Жданова вместо обеда. А кипяток сначала был вволю — сколько хочешь... Светка размешивала кипяток щепкой. Поднесла кружку Володьке.

— Деревом пахнет. Вкусней.

Взял щепочку, бросил в свою кружку.

— Вкусней.

А сам не мог понять, кому всё это снится.

* * *

Владимир Фёдорович открыл глаза и долго соображал, где он?

На Обской губе, когда провалился в сон после нырянья в полынью. Нырял он Васей Блаженным, а пробудился Владимиром Фёдоровичем...

Пока спал, — спал он в тот раз двое суток, — начальник исходатайствовал Владимиру Фёдоровичу Крыгину освобождение. Правда, с условием продолжать работу в том же лагере вольнонаёмным. Герой на воле техникум окончил и два курса института. Специаль-

ность «гидростроитель» очень востребованная на объектах треста «Гидромонтаж».

... Стена книг. На этот раз пробудился от сна пенсионер Крыгин.

Владимир Фёдорович лежал на диване, на любимом, укрытый пледом из ливийской пустыни. А в желудке — память о голодных судорогах. Блокаду перетерпел, и ни язвы, ни гастрита.

— Отдохнул? — спросила Наталья Ивановна.

— Савельев звонил.

В выходном платье, на плечах — павлопосадская шаль.

Селятино

— **М**ы куда-то идём? — Владимир Фёдорович не мог сообразить, что за праздник сегодня.

— У Савельева в «Мечте» выставка. Презентация.

— Ах ты господи! Он же у нас художник!

Наталья Ивановна подала белую рубашку и пошла за пиджаком.

— Без цацек! — распорядился Владимир Фёдорович.

— Да уж это дело известное! — принесла костюм, коему от роду далеко за сорок, но практически ненадёванному.

Брюки Владимир Фёдорович менять не стал: удобные. Ботинки надел те, к которым Дашка привыкла. Дашку тоже взяли. Выставка в «Мечте», а возле «Мечты» — «Тропа здоровья».

Картины Савельева были развешаны в светлой комнате нижнего этажа. Здесь время от времени ставят свои прилавки торговцы башкирским мёдом.

Картин — скорее картинок — было много, все в деревянных рамках, величиной со школьную тетрадь. На картинках посёлок, места рыбалок. Савельев первую рыбку поймал в четыре года. Но и в семьдесят по-детски верен удочке, червячку на крючке.

Прошлись по выставке. Савельев всё время был за спиной дорогого зрителя, смотрел на свои картины его глазами.

— От твоего художества покойно на душе, — сказал Владимир Фёдорович. — Будто жизнь та же самая... Прежняя, говорю.

— А она не та же самая! — усмехнулся художник.

— На сборище с Натальей Ивановной останетесь?

— На какое сборище?

— Администрация выносит на суд жителей план завтрашнего Селятина. Собираются леса сводить. Даже дубраву.

— Дубраву?! — у Владимира Фёдоровича все жилочки застонали, глянул на жену. — Ты знала?

Наталья Ивановна во всю свою жизнь ни одного раза схитрить не сумела: смотрела честными глазами. Знала.

— Я в дубраве в позапрошлом году два белых нашёл. Один с кулак, другой — детка. — Владимир Фёдорович даже застонал.

— Ещё целая стена, — напомнил о себе Савельев.

Пошли по выставке дальше, Владимир Фёдорович уже не скользил глазами по фотографически точным картинкам, а прямо-таки впивался в каждую.

— Наши пятиэтажки... Ты молодец, Анатолий Васильевич! За эти картины отдельных деревьев, дубов, сосен, за этот лесок у госпиталя, за тропинки — спасибо, брат! Всё загочтут гиппопотамы. Мой последний дом в Селятине, что сам ставил, 47-й. В нём и квартиру получил. Девятиэтажка. Но она не ломала жизни, не застила свет Селятину. На самом краю. Загораживала собой шоссе, отражала шум. Ты понимаешь, что затевают администрация и этот пришлый миллиардер?

— Понимаю. Наш посёлок строился для элиты.

— Ну какая элита? Рабочий народ. Ребята квалифицированные, разумеется. Инженеры вкальвали, и рабочие вкальвали. Для жизни был посёлок, а нас в муравейник заталкивают.

Савельев, глядя на свои картины, головой кивал. Взял за руку Владимира Фёдоровича, отвёл к окну.

— Ты знаешь, что я прочитал о том нашем деле... Для меня оно в тресте последним стало, как для тебя 47 — дом. Огород городили, конечно, гигантский!

— Планетарный! — согласился Владимир Фёдорович. — В том проекте я тоже участник.

Они оба, каждый на своём месте, готовили атомный взрыв-работягу: первый шаг к переброске северных рек в Среднюю Азию. Спасать Каспийское море, орошать пустыню и уж, конечно, ещё для чего-то сверхтайного...

— Ты представляешь, сколько планирова-

лось взрывов? Владимир Фёдорович! Двести сорок девять!

— Двести сорок девять?!

Смотрели друг на друга.

— Я ведь и второй готовил, — открыл секрет Владимир Фёдорович. — Потом заряд изымали...

— Ты всё-таки представь себе: двести сорок девять ядерных взрывов. Подземных — это да. Может, и не вредных, но ведь такая встряска! Удары по ядру Земли! Как по мячику в футбол, Володя. Не сатанинская ли была затея сия? Ты в церковь-то ходишь?

— По субботам. Вечернюю стою. По воскресеньям в храме тесно.

Савельев показал на стену.

— Новая церковь, вон она у меня!

— Ты селятинский Нестор! — Владимир Фёдорович обнял старого товарища.

— А сам-то чем занимаешься?

Владимир Фёдорович спохватился.

— Дашка привязана!.. Тем и занимаюсь, Дашку выгуливаю.

Наталья Ивановна взяла супруга под руку.

— Я сама с Дашкой погуляю, а ты послушай. За дубраву заступись.

Он смотрел на жену, и глаза у него слезились.

— Натка! А может, мы своё отжили? Всё, что было хорошо нам, — мешает нынешним.

Глаза супруги сверкнули не хуже молнии.

— Коли мы живы, так давай жить, а не доживать.

Владимир Фёдорович склонил голову: виноват. Прошёл в зал, поднялся к пустым рядам, сел в крайнее кресло.

В первых рядах серебряные головы. По затылкам не разобрать, свои или это люди иной эпохи, когда «Трест», сохраняя наименование, был уже фикцией «Гидромонтажа». Зал наполнялся медленно. Впрочем, до двенадцати ещё четверть часа.

Владимир Фёдорович понимал, что дремлет, готов был усмехнуться: «Старичё ты, старичё!», но картинка пошла та самая, какую он во всякий час гнал от себя пробуждением непременным и незамедлительным.

Он бы и эту дрёму развеял в прах, но решил схитрить. Собрание начнётся через считанные минуты, можно успеть прожить то, что дорого, а до запретного не дойдёт — разбудят.

Две долгие минуты

В зале было жарко, и во сне было жарко. Снился тот самый год, когда нестерпимый зной грянул в апреле на их лагерные чащобы, изуродованные зимним сплошным лесоповалом.

30 марта тридцать градусов мороза, а через неделю тридцать градусов кипящего под солнцем воздуха.

Комары не вывелись. А вот в мозгах пошла чесотка. Васе шепнули: Риббентроп и Молотов поставили на него большие деньги. Никто, однако, ээка не гнобил, жизнь ровная. Для священников даже пошли поблажки. Двух батюшек, старичков, определили в водовозы. Остальную церковную братию с лесоповала перевели обрубать ветки.

А тут и Васю, лесоруба-передовика, поощрили странным перемещением на лёгкую работу: возить брёвна с делянки из-под горы к штабелям у большой дороги, наверху.

Взял Вася вожжи в руки, и лёгкая работёнка превратилась в ад.

Жеребец, могучий, ярко-рыжий, кляцнул зубами у самого плеча, слюной обдал. Тут Вася и вспомнил: прошлым летом у хлебопекарни лошадь отгрызла возчику руку.

Поглядел на своего зверя — истинный лев и грива-то львиная, а упрямства — всей ослиной породе на зависть. Стопроцентная пайка за сто процентов плана грозила обернуться дыркой от бублика.

Вася выломал прут, но рыжий сатана на каждый удар взлягивал.

Передние ноги мохнатые — царь зверей. Ни единого шага вперёд.

— Подсунули лошадку!

В прежнее время воры сатанели от Васиных ста процентов, от них его кликуха — Вася Блаженный.

Сто процентов плана — килограмм хлеба — сила в теле. Про пайку ему в Ленинграде в блокаду один человек рассказал. Они с ним грузили трёхтонку окоченелыми трупами, стояками для вместительности ставили.

Тот человек отбывал срок на Беломорканале. Теперь Вася и сам знал: без пайки на зоне хана.

Риббентропу не скучно побалдеть, глядя,

как Вася Блаженный пайку вышибет из жеребца, отгрызшему руку у какого-то болвана.

А чего вот надобно начальничку Молотову? Куска хлеба жалко? На свиноферме для лагерной охраны свиньям буханки в жратву замешивают. Или тут другое дело. По Васиной ударной работе срок убыл вполовину, для других работяг наглядно.

Жеребец стоял, прядая одним ухом. Вася сел на пенёк. От жары волосы чуть ли не дымят.

Под горой какое-то колдыбанье, пеньё вроде бы. Батюшки, что ли? Точно! Показалась бочка. Прёт своим ходом. Лошади в оглоблях нет.

Вот оно что! В оглобли впряжено шестеро батек, по бокам бочки — батьки, сзади тоже. Бочка пузатая, с аэростат.

Вася поклонился священникам.

— Может, мой уросливый ради чина духовного смирится?

Завёл бешеную тварь в оглобли, запряг, вожжой щёлкнул.

Храп как рёв. Такая пошла пляска. Оглобли звенят, бочка подпрыгивает. Ужас!

Вася всё-таки подступил к своему сечевнику. Это ведь Запорожская Сечь признавала однуединственную работу — саблей головы сносить.

Выпряг из бочки, завёл в оглобли своей тачанки — тащить бревно.

Дали батюшки храбрецу воды испить. Он и спрашивает:

— А ваша лошадь куда подевалась?

Не ответили. Благословили и давай впрягаться. Тут Вася поглядел на своё исчадие и попросил.

— Батюшки, разрешите напоить животину.

Два ведра выдул рыжий, а как Вася за вожжи — храп, бешенство. Ну что делать?! Полез Вася опять-таки в ореховый куст, выломал стяжок, тяжёлый, как палица. Стяжком по ногам, по ногам, по ногам. Упрямец вскачь пошёл, но и бревно потащил. А Вася по ногам, по ногам, по ногам. Застонала рыжая тварь, как человек.

— Я тебя слышу, — сказал Вася урослине, — и ты меня услышь!

Поднялись на гору. Свалил возчик бревно у штабелей, сел верхом на рыжего. Уж очень много времени потеряно.

Ворам, как и запорожцам, работать зазорно. Малина Риббентропа под синими небесами, в берёзовой прохладе. Гульба в этой райской ро-

ше клубила кромешной каруселью. Вася не разобрал, что там у них творится.

Разорались друг перед дружкой, ор гнусавый, приклатнённый, истеричный. По ушам бьёт до боли.

— Зда! Зда! Зда! Ип-пг-гуй!

Вася пустил рыжего в объезд, но успел разглядеть: кобыла серой масти, в яблоках, на кобыле гирлянда из кипрея. Со стороны крупа, со штабеля отёсанных брёвен кто-то дёргается, забывая от наслажденья.

Васю замутило, жутко замутило. Не сблевал, но желчью обожгло горло, шибануло в нос.

Всех перекрывая, взвился над лесом надсадный вопль и шепелявый гундос Чёрта.

— Даме — вина!

— Кагорцу! — взвизгнул Зюзя Хиляк. — Кагорцу! Тащи длинногривых, пусть причастят нашу мамулю.

Все голые, водой поливаются из бочки.

Вася невольное потянул узду на себя, и рыжий вдруг послушался, встал. Батюшек кого гнали пинками, кого волокли. Пятеро-шестеро риббентроповых сволочей очутились возле Васиного жеребца, отобрали узду, потянули в водоворот утехи, а когда приблизились, стащили Васю на землю. Гоготали в лицо глумливо и радостно. Изумлялись простоте сапога.

— На бабе-то лежал?

— Таковую тебе представили шахну. Объеденье.

И очутился Вася перед мордой кобылы. Глаза чёрные, сама как серебро. На чёлке венки из васильков. Через спину и по шее гирлянда пламенного кипрея.

— Ша! Играем свадьбу! — гундосо прокрякал Чёрт.

Возлежавший на ковре Риббентроп поднялся и кистью левой руки мотнул в сторону священников.

— Без креста какая свадьба? Крест! Этому! Он владыка.

Владыке вложили в руки сколоченный из двух досок штакетника крест.

— Жениха! — заорал Чёрт.

Корчась и взвизгивая, Зюзя Хиляк впился когтями в Васину руку, тащил к кобыле.

Владыка, высокий, ещё не поседевший, не сломленный, поднял крест над позорищем.

— Опомнитесь! Господь с нами!

— Это ты про нас?! — Чёрт хихикал, фыркал и сипел. — Надо же так насмешить. — Гаркнул. — Оставьте Васю Блаженного! Владыку к невесте. Вот жених!

Подбежал к Риббентропу.

— А чегой-то они не пляшут? — тыкал обеими руками в сторону священников.

— Непорядок, — согласился Риббентроп. — Ничего, сей миг запляшут. Прижечь всем пятки! А венчать жениха владыку с невестой нашей будет отец Серафим. Он самый святой. С Афона!

— Это было! — сказал Вася. — Это было!

И пошёл к Риббентропу. Хиляк Зюзя, быстрый как вьюн, метнулся наперерез. В руке финка, а у Васи — стяжок! Забыли забрать. Рука, как плеть, описала полный круг, хрястнул череп. И Вася стоял уже перед Риббентропом.

Стяжок он почему-то отбросил... А глаза распахнул... Звонок звенел. Две минуты истекли, успели-таки истечь.

В зале полутемно, на сцене — экран. На экране — «Тропа здоровья».

Озабоченные прогрессом

Камера с тропы углублялась в лес. Повалившаяся берёза, пепелище от костра, консервные банки, пластиковые бутылки... Озеро окурков!

Вася смотрел на это, не умея сообразить, куда подевался его уросливый жеребец и как он из того леса очутился в этом.

...Бомж хлебает на экране пиво, в бутылку уже вцепилась рука его соседа.

Свет включили, экран ослеп.

Владимир Фёдорович стёр с лица обеими ладонями то ли сон, то ли прошлое.

На сцене нынешний хозяин «Гидромонтажа». Крупный, серьёзное лицо, благочестиво поджатые губы, благочестивый вздох.

— Вам лес надобен для разведения этой пьяни? В таком лесу...

Повёл рукой, свет тотчас скис, на экране снова куча бутылок. Оплывший окопчик времён войны, доверху набитый отбросами пиршеств. Камера смакует пакеты, обёрточную бумагу, бутылки.

— Глядя на такой лес, говорить о культурном

отдыхе — насмешка над культурой и прямое издевательство над отдыхом... Сидят, как в мусорном ящике. Матерят друг друга и мать-природу.

«Какие у оратора-капиталиста смиренные глаза!» — Владимира Фёдоровича передёрнуло. Отвращение было неожиданным, как неожиданная рвота, с которой начинаются иные болезни.

В зале свистнули. И ещё раз — оглушительно. Начальник треста пожал, обиженный, плечами, сел.

«А какого треста он начальник? Трест ау вместе с советской властью».

И опять замутило. На сцене восседала — ложь.

— Так не гляди! — сказал себе Владимир Фёдорович вслух и даже не пошевелился. Краем сознания прибил себя к месту — гвоздем. Прожитая жизнь — прахом пошла. Страна была великая, дела великие, выходит, и народ был великий. Но кто на сцене-то в те поры красовался? Тоже ведь смотреть было противно и слушать было противно.

Всё-таки там... другое...

Вспыхивал экран, женщина, начальник проектного управления, представляла будущее Селятина.

Вырисовывались две составляющие проекта: вместо дубравы и берёзовой рощи, где проходила «Тропа здоровья», — Ледовый дворец, вместо семидесяти трёх гектаров бора по другую сторону посёлка, за больницей, — этажи высоток.

— А кто будет жить в этом муравейнике? — крикнули даме.

Ответили тоже из зала.

— Наших денег не хватит порог в тех квартирах купить! — И довесочек к реплике: — За сколько совестёнку продала?!

— Как вы смеете?! — у дамы звенели слёзы в голосе. — Я мою работу исполнила честно... И вовремя!.. Вовремя!

Это был уже крик.

— Я потеряла... Я схоронила...

Одолевая отчаянье, что-то говорила и говорила о проекте, что-то показывала электрической указкой на карте.

Всё это было не по-человечески, но администрация и бедой попользовалась.

Веское слово молвил глава администрации.

Костюм кремлёвского покроя, благородная

седина на висках и стальные глаза на ласковом лице. Благодарил Селятина за поддержку.

«Кто же его поддерживает?» — Владимир Фёдорович завертел головой. Вся поддержка сидела в первых рядах — рабочие рабы из ближнего зарубежья...

Почему-то расхваливал проект глава администрации соседнего посёлка. Пламенно говорил секретарь коммунистов. За Чернобыль ордена Ленина получил — гордость рабочего класса Страны Советов. Обрушил гнев на правителей: миллионы беспризорных детей! Уличил партию власти в коррупции — воровство всеобъемлющее. Пригвоздил заодно к столбу позора всех, кто противостоит администрации и тресту в развитии посёлка.

Такого идиотизма Владимир Фёдорович перенести не мог: сердце застучало. Поднялся, пошёл вниз по стеночке зала к дверям.

— С тобой тоже всё понятно! — крикнули герою-чернобыльцу. — Тебя начальником участка поставили. Хлеб отработываешь!

— Он стоеросовый дурак! — сказал Владимир Фёдорович, но самому себе.

С Гришкой Медным лбом у них много чего было. Незабываемого.

Капитализм — сволочь!

Объявили: выступает Татьяна... Фамилию буркнули неразборчиво.

Владимир Фёдорович тотчас сел на свободное место в первом ряду. Татьяна Павлова пытается противостоять мошенникам. Молодая женщина говорила внятно и по делу.

Трест не имеет прав на лес. Право присвоенно незаконно. Несколько документов у них — фальшивки. Люди из администрации идут на все подлоги, ибо кусок лакомый. Жильё в посёлке такое же безумно дорогое, как в самой Москве.

После Татьяны снова выступил глава. Кланялся, сердечно благодарил за поддержку проекта.

— Будущее посёлка важнее нескольких гнилых деревьев.

Владимир Фёдорович встал, плюнул и вышел из зала.

— Верблюд! — сказал себе, пересекая вестибюль.

На улице его ждало солнце, а на скамье Наталья Ивановна. Дашка у её ног. Вскочила, виляя хвостом, кинулась к хозяину.

– Ну что там? – спросила супруга.
 – А ну их!
 Шли домой – под ноги смотрел.
 – Ты, может, что-то обронил? – спросила Наталья Ивановна.
 Быстро коснулся её руки.
 – Натка! Я смотрю, где они, твои следочки, на этой дорожке?
 – Посёлку под шестьдесят, а нашего здесь житья – почти вполовину. Натоптано многими.
 – Жалко, что я не олигарх! – По лицу было видно, Владимир Фёдорович взаправду огорчился. – Я твои следы отлил бы из серебра, а на даче, у твоих цветов, – из чистого золота.
 Посмотрела в глаза, и в глазах её вся их жизнь.
 – Твои следочки, Володя, я вышила бы шелками, но ты вспомни, где оставлены тобою следы. Тайга, пустыня, земля, промороженная до самого ядра.
 Владимир Фёдорович остановился как вкопанный.
 – Я обещал Герману Эмильевичу о кувяках рассказать.
 – Какому Герману Эмильевичу? – глаза Наталья Ивановна вскинула испуганно.
 – Академику.
 – Академику?!
 – Он был настоящий академик.
 – Как ты говоришь... О ком не рассказал?
 – О кувяках. Племя такое было – мураши. Они своих покойников не хоронили, а опускали в бездонные земные щели... Я в Большом Мурашнике одно лето у родственников жил.
 Дашка смотрела на Владимира Фёдоровича, и Наталья Ивановна тоже. Ну, вспомнил – ладно. А стоит так, будто вернуться хочет.
 – С какой стати кувяки эти самые в голову тебе лезут?
 Улыбнулся.
 – Натка! Я не знаю, где живу теперь. Всё ещё там или здесь. Там всё, что мог, сделал. А нынче делать ничего не надо, разве что – жить...
 – Чего большего-то? Жить! В Бога веруешь, а жизнь от Бога. Коли даёт – живи.
 – Мы со смыслом привыкли жить-то.
 – Весь смысл у Бога. Живёшь, значит, нужен Ему на земле. Значит, чему-то быть.
 – А чему уже быть-то...

Владимир Фёдорович руками развёл, но всё-таки взор в себя обратил. Что-то аукнулось сердцу.

Первый столпник мира

До земли сорок локтей и двадцать лет от жизни. От суеты сует. Но вот уже тридцатый день, опершись плечами и головой о внешнюю стену обители, сидит женщина.

Утром в тридцатый раз женщину не пустили за эту внешнюю вторую стену. В мужской монастырь вход воспрещён даже матерям иноков.

Имя упрямыцы – Марфа. Последний раз он слышал её ласковый голос тридцать лет тому назад.

Тридцать лет раба Божия Марфа искала сына и нашла его, безупречно одинокого, ибо он единственный у Бога человек, живущий между землёй и небом. Его ноги попирают столп – от земли оторваться невозможно. Не Ангел, чтобы жить среди небесного эфира. Однако ж свет мира омывает его тело все дни стояния и тьма Вселенной всякую ночь ложится на его плечи.

Имя ему Симеон Столпник.

Из родного Сисана он ушёл, исполнив работу очередного дня: утром, ещё до восхода солнца, матушка дала ему три лепёшки, мех с водой и сосуд с молоком.

– Пусть солнце будет щадящее, а травы росные.

Улыбнулась, осеняя крестным знаменем, и эта улыбка – единственное его имение.

Он пас овец. Овцы самые мудрые животные, живущие с человеком. Они пройдут ровно столько, чтоб насытиться вполовину. Другую половину труда оставляют на обратную дорогу. Овца не оттолкнёт овцу от воды, торопясь утолить жажду. У всех свой черёд.

И когда шёл он в тот день за овцами вверх по гребням холмов и вниз, низинами, где была тень, не помнил о зное и не искал среди камней затаившегося волка. Ликующее слово «Блаженств» звучало в нём, текло по земле и было светом неба.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Радостно озирая холмы, он искал правду и смеялся, потому что правда была в сердце, в соевести, и в зелени травы, и в трубах света с небес.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».

В тот день он пригнал овец к загону, затворил за ними ворота и увидел, что все три лепёшки не съедены, вода не выпита, а молоко прокисло. Оставил молоко и пошёл к Богу.

На столпе как на облаке. Над землёй, над суетой, но никак не над жизнью.

Простоявши укором бытию двадцать лет, он не переборол в себе даже детства.

Детство не соблазн и не рай и уж никак не награда.

Детство — росточек, с такой же точкой роста, как на травинке, пробивающей асфальт.

Неумелое, ласковое, оно изумительно могущественное. Пуповиной едино с Любовью, с Богом. Детство — образ Слова, сотворившего мир.

И Симеон Столпник имел дар детства. С отроческих лет пастушок, с тринадцати — пастух.

На родной его земле камней больше, чем травы, но в небе звёзд больше, чем камней.

Шагая за овцами, Симеон встречал солнце и провожал солнце. Люди оставались в Сисане. Некому было подменить детства — жизнью, Бога подменить — жизнью. В восемнадцать лет Симеон оставил овец и ушёл в монастырь. Игумен пожалел юношу, отказал в постриге.

Семь дней стоял Симеон у ворот монастыря, и монахи ворота перед ним открыли. Через два года инок Симеон ушёл в другой монастырь, искал строгую жизнь. Но юный монашек, не довольствуясь постами, многочасовыми службами, принялся оплетать себя колючими растениями. Он всегда был в крови. Братия возроптала, игумен потребовал умерить аскетизм, но Симеон умерщвлял плоть, пугая даже старцев.

Игумен изгнал юного аскета из обители. Стремясь к молитве в уединении, Симеон жил на дне высохшего колодца.

Иноческая братия нашла подвижника, вернула в монастырь. Но Симеона тяготило многолюдье. Ушёл в Каппадокию. Поселился в пещере на

вершине горы. Ища спасения, он провёл Великий Пост без пищи и воды. Испытание выдержал и на другой год половину Великого Поста стоял, а другую половину провёл на коленях, ибо без пищи и без воды, приходилось беречь силы.

Здесь, в Каппадокии, Марфа, мать подвижника, обрела сына после многих лет поиска. В тот же день Симеон исчез.

* * *

У столпника свои навыки жизни. Спать научился стоя. Вернее, это были дрёмы, иногда мгновенные, но случались и долгие, покойные дремоты. С вереницами сновидений. Вчера был ему сон тонкий, забытье совсем краткое, неполное — он чувствовал лучи солнца на правой стороне лица.

Видел Сирию сразу всю и очень далёкую от нынешнего дня. Огонь пожирал каменные дома. Дома огромные со множеством окон, и окон этих многие разы. Вдруг обвалилась обугленная стена, ибо пожарище сожрало дом изнутри. Чёрные языки жирной сажи тянутся через всё небо — весь город в пожарище.

Видение было короткое, как жизнь искры с горящей травы, но ему показали все земли и все города Сирии, Ирана и неведомых стран. Всполохи огня, вырастающие до облаков, пылающие люди. А потом он увидел Марфу. Отторженная от него, сына, двумя каменными стенами, держась за стену, Марфа, мама, поднялась с земли и смотрела на него. Подняла руку, осенила крестным знаменем, осторожно легла, уютно положив голову на узелок, и больше не двигалась.

Это было в видении, на рассвете, и всё, что произошло с женщиной за двумя от него стенами, теперь происходило и произошло наяву.

Наконец-то он заплакал.

Удивительно! Он утратил способность плакать ещё в пещере: к нему шли с такими бедами, что слёз у него не стало, кончились в первый же год пещерной жизни.

Теперь он плакал, плакал и знал: в пустыне, где развалины изумительной Пальмиры, пролилась дождём такая щедрая туча, что высохшие сто лет тому назад реки переполняются водой.

Утром пустыню покрыли от края и до края си-

ние цветы. Но здесь, за стенами его монастыря, по каменистым холмам паслись овцы, пастух всё стоял, стоял, и овцы устали дёргать жёсткую траву. Сойдя в низину, где была тень, сбились тесно, замерли. Пастух сошёл с вершины холма к овцам, сел на камень и потерялся среди камней.

А на столпе столпнику опять был сон. Опять тонкий. Мгновенный.

Он увидел матушку, нашедшую упоение под стенами монастыря, где спасается сын, увидел двух юношей в белых сияющих одеждах. Оба наклонились над уснувшей, что-то подняли, и ему показалось: они держат завернутого в свет младенца. За спинами юношей раскрылись огромные сияющие крылья, крылья подняли их над землёй, и они несли ношу с ласковой бережностью, как живое и драгоценное. Крыльями не взмахивали, но устремлялись выше, выше. И тут ударило в глаза солнце. Сон оборвался, и над столпом было небо и свет.

У него в голове стояли слова, обращённые к Богу: «Прими душу рабы Твоей Марфы». Но уста его были запечатаны. И он стоял недвижим, потому что... Потому что к матерям надо относиться по-сыновьи, если даже ты монах за двумя стенами и на столпе.

Господь милостив.

Когда братия пришла вечером к его матушке и положила матушку в гроб, он закричал со своего столпа, умоляя поднять гроб в его недоступную крепость.

И подняли. И глядел он на лик Марфы, а братия снизу видела: над столпом светает.

Вечер перетекал сразу в утро. Небо нежное, розовое. Света всё прибывает, столп в свету. И просияло так, будто солнце взлетело к зениту. Но солнце уже закатилось. Таково счастье материнское. И прощение материнское.

Соблазн в эпоху социализма

Они спали в одной постели. С молодости Наталья Ивановна, раздеваясь, выключала свет. Но ведь лето. День меркнет медленно.

Владимир Фёдорович вздохнул затаённо: Натка по сию пору сохранила статью. Может, ради этого его погляда, затаённого. Разумеется, природа. Как нынешние говорят: «гены». Но

Владимир Фёдорович в последнее время стал замечать всеобщее безобразие женского пола. На лицах дам маски изощрённой ухоженности, а телеса, да ведь у многих, чудовищные. Как с мужчинами-то спят? Возле такой горы жира всех чувств отвращение, а в самом лучшем случае — жалость. Впрочем, спят, живут... Вот только не от того ли сильный пол глаза водкой заливает... Раскормленные буржуины среди девочек, среди мальчиков... Кто-то, возможно, болен, но в блокадном Ленинграде подобной болезни не встречалось. От голода опухали, однако ж это совсем другая расплывчатость тела.

В Переславле-Залесском тоже ведь раскормленных не имелось. И позже, когда со Сталиным коммунизм строили. С Хрущёвым всех лошадей сожрали — обошлось, а вот при Брежневе в Евпатории открыли лагерь для лечения переедания.

Теперь-то жратва нездоровая. У капитализма всё фальшь: демократия, золото куполов церковей, красота макияжа...

И уж, конечно, колбаса — аргумент Гайдара.

Владимира Фёдоровича даже передёрнуло, когда докторскую, драгоценно-дорогую вспомнил.

— Ты что? — спросила Наталья Ивановна.

— Картины жизни чередой прошли. Двадцать первый век.

— Что за картины?

— России, освобождённой от идей и от совести.

— Нашу жизнь вспоминай.

Он взял Натку за руку.

— Где это было? Мы с тобой на зелёной вершине холма, кругом лес как море. Река. Уж такая величавая.

— Где как не в Сибири.

— То ли Кан, то ли Енисей... А помнишь реку под Тобольском? Всё громадное! Лес, земля, река. Мы высоко, река внизу, как с неба глядим... Натка, какая река-то?

— Тобол.

— А-а! Тобол.

И они заснули. Разом.

Он увидел степь в маках, солнце и море, на строительстве которого работал в качестве практиканта. Спыхватился. Воспоминание засекреченное, столько секретного было в жизни, а теперь во снах. Но его уже понесло.

Особое тогда случилось время: первые месяцы без Сталина. На летнюю практику его послали в Ростовскую область. Морем именовали Цимлянское водохранилище. В самом широком месте — сорок километров.

Подспудная задача практики позже открылась: учили жить бок о бок с зэками. Этот контингент — ведущая сила в строительстве коммунизма. Посёлок пророчески звался Солёным. Здесь, разделённые стеной, — два лагеря: мужской и женский.

В ту самую пору председатель Совета министров товарищ Маленков выдал паспорта колхозникам. Отменять крепостное право на Руси — дело отважное и наказуемое. Царя-Освободителя убили бомбой, Маленкова объявили государственным недотёпой, от власти убрали. Но умер он всё-таки своей смертью, крестьянский Бог России хранил.

Первую неделю практикант работал в лагере мужского пола. Ему попалась бригада серьёзных сидельцев. Все работы, что-то укравшие на своих заводах, остановленные в проходных. Работали основательно — сроки отсидки работы сокращали.

Но мудрец, руководивший практикой, решил показать практиканту и контингент в юбках. Владимира Фёдоровича направили в лагерь через стену. Работу предстояло выполнить вполне женскую и даже трогательную. Спасти цветник, редчайшую коллекцию. Цветник уйдёт под воду. Для гидротехника спасти цветы — занятие странное, но практикант — затычка. Впрочем, для того и практикант — быть везде, приглядываться, учиться пониманию.

Владимиру Фёдоровичу отрядили пятнадцать женщин, расконвоированных. Цветник в ста метрах от лагеря, на берегу озера. Тюремная начальница за порядок и дисциплину ручалась.

— Они сроки почти что отбыли. Работа приятная. Всё будет нормально.

С полчаса трудов впрямь всё было нормально, но тучи разошлись, стало жарко. И сначала одна, потом другая и все пятнадцать — разделись.

— Перерыв! — объявила бригадир. Легли в тени сарая, на траву-мураву. Что-то надо было делать, а как подступиться: они же ну совсем без всего. Встал боком, глазами упёрся в крышу сарая.

— Я понимаю — жарко... Даю двадцать минут.

Бригадир, заводила — красавица. Ей бы в кино на главную роль.

— Не слышим! — голос ангельский. — Твои слова ветер в сторону относит. И невежливо разговаривать отвернувшись. Мы женщины...

— Я говорю, у нас — норма. Нам нужно потопиться, чтоб цветы спасти.

— Не слышим! — закричали женщины хором. — Ближе подойди!

Подошёл.

— Ты чего, начальник? Ты нас не уважаешь? Повернулся лицом.

— Ну вот я.

Бригадир ручкой махнула, и все пятнадцать подняли и раздвинули ножки.

Обомлел, а красавица властно, грозно:

— На каждую гляди! Чтоб без обиды. Морду отворишь — все цветы растопчем.

Струсил. Не нашёлся. Шёл от одной к другой. Атаманша поднялась, глазами в глаза и вздохнула.

— Эй, сучки! Он же девственник! — рукой на ширинку. — Мокрехонько.

И ни единого смешка. Поднялись, оделись, пошли работать...

Владимир Фёдорович проснулся от того, что пижама внизу намокла. Он уже забыл, как это бывает. В ванную пойти — Натку разбудишь... А перед глазами чредою все пятнадцать. Может, и постыдно, да за пятьдесят с лишним лет — не померкло... Скорее всего игра с ним была первым выбросом вулкана перед взрывом. На другой-то день опять надо было идти к этим же.

В лагере его удивили кишащая суета и гомон. Шёл, замедляя шаг... Что-то, видимо, случилось. И вдруг увидел перед собой вчерашнюю заводилу. Просияла.

— Девственник! — подошла, взяла за руку, потащила за собой. И кажется, они очутились в пекарне: тёплым хлебом пахло. В пекарне — никого.

— Что случилось? — спросил он.

Хохотнула.

— Наши сломали стену. Теперь все у соседей... — Смотрела в лицо, не смаргивая. — Я тебя ждала. Девственника... Ты узнаешь самое, самое.

Сняла свои казённые одежды. Он видел неправдоподобно белое. Две розы на груди, золотой хохолок над сокровенным.

У них это было нескончаемо. Изумлялась восторженно.

– Девственник! Долго же ты терпел! Ты всё, всё получишь. И не забудешь. Сколько бы у тебя ни было... Меня не забудешь.

Его объяла такая ласка, он столь щедро извергал своё нерастраченное...

Потом она довела его до пропускной. Оберегала от нечаянного нападения. Охрана сбегала. Любовный коммунизм затянулся на две недели.

Приезжал генерал Барабанов. Просил приступить к работе, сорваны государственные сроки. Восстановили стену. Работа пошла.

Начальник Владимира Фёдоровича удивлялся, понять не мог: никого не постреляли, не искали виновных. Наверное, важнее было построить море к сроку. Дело делалось сверхударно. Но стену снова повалили. Через два месяца. И тогда со стороны лагеря урок поставили эшелон с солдатами. Другой эшелон под парами, без конвоя – со стороны женского лагеря. Этот увозил освобождённых. Освободили всех. В те годы беременных из тюрем, из лагерей освобождали!

* * *

Утром Владимир Фёдорович глаз не мог поднять на свою Натку.

О практике на Цимлянском море он ей не рассказывал. Про других женщин, которые были добры к нему, тоже, конечно, помалкивал. Их было совсем немного... Для него всё это непросто. Самого себя стеснялся. Росточка аккуратного, глаза никакие... А то, что сердце ласковое – оно же за грудной клеткой. Сердце Натке открылось неведомо как.

Они жили, будто это один человек. Но вот ведь грех-то! Той сладости, какой одарила его безымянная заключённая, он никогда больше не испытал. И не желал повторений. Боже упаси. Но помнил.

Наказание за сон запретный, не остановленный, последовало противнейшее и скорое.

Советские лоси

В два часа дня, как это у них и положено, Владимир Фёдорович шёл, ведомый Дашкой, «Тропой здоровья». Роща, заслонявшая Селятино от Киевского шоссе, пораженчески отступила под натиском бетона.

Вольготные развязки дорог отхватили добрую треть рощи. Ещё прошлой зимой за ними подглядывала из дупла чёрная загадочная желна. Дашка на птиц не лает, всё это было молча, осторожно, внимательно.

За один круг по «Тропе здоровья» вспугивали двух-трёх белок. А хозяином леса был дятел. Там постучит, здесь постучит, да строго! И вдруг с поднебесной берёзы барабанная трель – прямо-таки музыка виртуоза.

Весной «Тропу здоровья» обступали ландыши, росли густо, изумляли жданной, но всегда нечаянной красотой падающих вверх цветочкапелек. Потом купавки подавали о себе сладкую золотую весть. Бетон и природа несовместны. Владимир Фёдорович в лес теперь не углублялся, шёл как городской человек по культурной тропе под рёв моторов. Полотно развилок поднято вровень с вершинами берёз.

– Бежать отсюда надо! – сказал Владимир Фёдорович. Дашка замерла, голову понурила, а потом всё-таки посмотрела на хозяина. Вроде ничего, идёт.

Повеселела, но оглядывалась, Владимир Фёдорович видел: смеётся.

Тропа, сделав круг по лесу, выводила к «Мечте» со стороны дубов. У «Мечты» три «мерседеса». На лужайке между дубами три господина в «кремлёвских» костюмах, чуть поодаль – чёрные пиджаки охраны.

Птенчиков петушком заливается. Белой ручкой указывает, где стоять Ледовому дворцу, где быть музею и библиотеке.

– Дашка! Мать честная! Они уже музей себе строят. Ленина запинали, но дела-то у самих большевистские. Всё им надобно сокрушить, переиначить, а народу нашему в который раз корячиться с нуля. Одна разница. Большевики твердили: для народа пуп надрывают, эти же ради себя, ненаглядных, в ярмо Россию загнали. Библиотека – это же фиговый лист.

– Вы сами видите! – долетал голосок Птенчи-

кова. — В этой паршивой рощице берёзу не отличишь от ели — такие же тёмные. Дубы сплошь больные. В прошлом году желудей не было.

Глава районной администрации пожал Птенчикову руку.

— Здесь для всего хватит места, всем можно угодить. Дворец — спортсменам, библиотека с музеем — интеллигенции и великолепная парковка.

— Ларчик-то у них уж очень прост! — усмехнулся Владимир Фёдорович. — Парковка.

Хозяин строительной фирмы, влезшей в здание треста «Гидромонтаж», умница: выживает прибыль из бывлой славы атомщиков. Этот сказал сдержанно:

— Во всякое время лицо у жизни своё. Мы постараемся что-то сохранить.

Дашка вдруг рванулась, залаяла. Начальство встрепенулось, оглянулось, но собаку Владимир Фёдорович успел в ельник завести.

Обошли «Мечту» с тыльной стороны. На пустыре аккуратные ямы. Забор будут ставить. На другой стороне дороги уже стоит: растут этажи громадного дома.

От села Крутилова остался пруд. И только. Нынешний пруд — козырь предвыборной кампании господина Птенчикова.

Владимир Фёдорович к облагороженному водоёму ни одного раза не подошёл и у Селяты не был.

Селята — это уже козырной туз. Наглядный местечковый патриотизм, недюжинный интеллект... прохвоста нынешних времён.

Из пришедших на выборы селятинцев — пятой части посёлка — за Птенчикова проголосовало на шестьдесят человек больше, чем за Павлову, совсем ещё девицу. Шестьдесят голосов при административном ресурсе да при технологиях спецов... Но у корыта власти — Птенчиков.

Не желая идти вдоль забора, Владимир Фёдорович по зебре перешёл дорогу возле «Трилистика» — первой высотки в Селятине — и вот он, Селята.

Селята стоял на том самом месте, какое избрано было для бюста Ленина.

— Смотри, Дашка, — приказал Владимир Фёдорович. — Смотри! Вместо вождя мирового пролетариата, стало быть, честной жизни, —

дворовый человек митрополита, за коровами приглядывал.

Стояли и смотрели.

Кто-то из краеведов наткнулся в компьютере на счастливое для Птенчикова имя, у Птенчикова завершался срок пребывания в начпуках. Ухватился за Селяту как за миллион. Да ведь и впрямь за миллион, вернее за миллионы. За два-три года у кормушки кое-что набегает, прилипает.

Митрополита Фиогноста история России помнит. Наследовал первому митрополиту Москвы Петру — строителю Успенского собора и Государства Московского. В Орду дважды ездил.

Селяту Владимир Фёдорович ненавидел не видя. И вот — сошлись.

Бронзовый ряженный старичок. На голове шапчонка. Сочинительница жизнеописания Селяты ужаснулась картузу, какие носили московские подмастерья до революции. Скульптор понятия не имел, кого лепил.

Нашли в Интернете колпак XIV века. Иллюстратор, чтоб нагляднее представить одежду минувших времён, натянул колпак на голову смешного старикашки, этим старикашкой, торопясь спихнуть скорый заказ Птенчикова, скульптор и одарил Селятино.

В руке у Селяты посох с набалдашником, явно не пастуший. Шуба нараспашку, лёгкая, летучая, как у барышни весёлого поведения. То ли плясать пошёл, то ли бахвалится милостью митрополита. Фальшивый старичок, и улыбка у него фальшивая.

Рука в том месте, где прикладываются, сияет. Так сияет нос овчарки пограничника на станции Революции, в метро. Нос овчарке трут студенты, чтоб экзамены сдать без сучка-задоринки.

А здесь — подделка. За что Птенчиков ни примется, всё у него ненастоящее, поддельное. Впрочем, такое время. Время лгущих и ворующих. Россию раскатали как блин, и все от этого блина уголки отламывают.

Дашка обнюхивала круглый постамент. Высоко возносить Селяту Птенчиков не решился, за ёлками укрыл. Опять же соблюдена европейская мода. В Европе великих людей, каменных и бронзовых, прямо на землю ставят.

Селята тоже вроде на земле, а всё-таки маленько над землёй, по-ихнему и по-нашему.

Владимир Фёдорович повод дёрнул сердито, пошёл прочь сноровисто, но вернулся. Постучал по Селяте. Показалось: крашенный гипс. Но нет, звук пустоты. Впрочем, навряд ли Селята бронзовый. У бронзы звук бронзы. Здесь что-то иное. И сам себе сказал:

– Поганое дело – хаять.

Перешёл с Дашкой дорогу и прямо на пруд. Возле пруда работяги копали канаву.

– Фёдорыч! Слышал, сколько заплачено за эту красоту?

– Уж не знаю. Деньги у нас непостоянные, капитализм.

– Семь миллионов.

Смеялись дружно.

Впрочем, выглядел пруд прилично. Вымошен плиткой по кругу. Берега, уходящие в воду, оправлены камнем, белыми кругляшами. Четыре скамьи, деревянные, для отдыха удобные. Мостик с выгнутой по-кошачьи спинкой. Под мостик скатываются струи из крошечного водопада. Наверху, у железного забора школы, – беседка.

– Беседка любви! – сказали работяги.

– Народ успел назвать?

– Народ с третьего этажа, где Птенчиков чиркает.

Ложь, ложь! Владимир Фёдорович любил Крутиловский пруд. За его дикость. Здесь закидывали удочки старожилы «Гидромонтажа». Где только не бывали! На морях, на великих реках, на знаменитых озёрах, а рыбке из пруда радовались как дети. Дети тоже ловили карасиков по соседству с героями.

Дикость пруда была естественная. Травка на высоком берегу возле школы вымахивала в полтора человеческих роста. Над вершинками трав вились синие иголки стрекоз.

Господи! На ничтожной этой прудке Владимир Фёдорович бобра видел! Пришёл бобёр поискать место для дома.

А уж ласточки как радовались воде! С высоты, с визгом вниз и – чирк! Чирк!

Владимир Фёдорович внучку, совсем крошечную, приводил на пруд на стрекоз посмотреть, высокой траве поудивляться.

– Жулики! – сказал Владимир Фёдорович

Дашке. – К чему ни приложат умишко – всюду куш.

Сел на лавку. Удобно, а всё равно мерзко. Сокрушало бессилие. Всё видишь и ничего не переменишь. Пенсионер. Представил себе нынешних, работающих, – ознобило. Эти все – нынешние – пикнуть не посмеют противу творящегося на просторах страны, где так вольно дышит человек, после самоуничтожения СССР.

– Всё, что было, – сплыло, – сказал Владимир Фёдорович Дашке, распуская поводок: пусть к воде подойдёт.

Дашка кромку берега обнюхивает. Увлелась.

Сказал себе: «Нечего нос воротить от нынешнего пруда. Земля за людьми прибирается по-хозяйски». Так оно и есть. На месте Крутилина до нынешней весны росла мать-и-мачеха. Русские цветочки высypали уже на другой день, как снег сходил. Солнышки. Скромнее мать-и-мачехи цветов нет, зато первый шмель – их. Первая радость старого и малого, переживших зиму, тоже от мать-и-мачехи.

Трава за единый год затянула рану на земле, оставленную Крутиловым. Вместо домов зелёные холмики. Десяток яблонь уцелело. На этих яблонях Владимир Фёдорович три года кряду видел парочку чижей.

Господин, купивший всё, что уцелело от «Гидромонтажа», ставит на тлене села чудовищный дом. Память о Крутилове закатана в бетон фундамента. Но ведь эта махина тоже станет прахом и порастёт травой.

Владимир Фёдорович вдруг вскочил и, таща за собой Дашку, взбежал на мостик, потрогал «водопад». Почудилось – искусственный, как Селята, как этот окольцованный плиткой пруд, как вся теперешняя жизнь с гайдаровской докторской колбасой без мяса.

Немочь объяла. Снова сел на лавку, закрыл глаза. Солнце грело, как греет солнце. Слава богу, пока ещё не лампочка. Уплыл. Память – среда текучая. Недаром говорят: река времени. Понесло, понесло...

Вynesло на берег Волги, в Куйбышеве. Он, совсем молодой прораб, был творцом чуда, и на это чудо пришли смотреть его создатели. Дамба строилась под его ответственность. В тот счастливый день он даже усомниться забыл в надёжности сего скоропалительного сооружения.

На девяносто процентов толпа смотрящих состояла из эзков. У смотрения был особый смысл. Волгу выпустили из заключения, и она — Господи! Волга! — устремилась в котлован. Свобода для неё была обманная: загоняли в клетку — работать. В стране рабочих все на работе. И реки тоже. Наградой эзкам станет освобождение.

Радость громады воды, подчинившаяся человеку, была радостью каждого, кто всё это сотворил и кто теперь смотрел на великое своё дело.

Земля была горестно прекрасная. Октябрь. Лес — золото. А между бурьянами — зелено. Тепло стояло, молодая трава пошла.

Вода трубит, будто мамонты восстали из мёртвых. Все затворы подняты. Каждый шириною в двадцать метров Волгу возвращали в её природное ложе. Вода ликовала, не ведая, — путь к морю перегороден могучей плотиной. Хочешь в Каспий — турбины крути. Река разбойников и дикой воли отныне рабыня. Точнее, труженик, работающий для народного блага. Как те же крестьяне и рабочие.

Поток завораживал. Это же сама жизнь Страны Советов — летит, крушит.

Женщина охнула.

— Телячий остров под воду уходит!

Остров потому и телячий, что на нём лосихи телятся.

— Смотри-ите!

Лоси, корона к короне, составили звезду на воде. В центре этой звезды — лосихи и лосята. Все, кто безрогие.

— Ещё звезда! Смотрите, ещё!

— А там-то...

Восемь звёзд плыли к исконному, к противоположному берегу. Подплывали, размыкали острия лучей звезды, и стадо выходило на сушу.

Не оглянувшись, лоси шли на поиски большого леса. Ни единый зверь не посмотрел на преодоленное, на оставшееся позади. От человека прочь.

— Есть Бог! — сказал эк. У него и лицо-то было седое, и сам весь как в паутине. Перекрестился.

— У них, чай, школ нету! — крикнул шофёр из кабины. — На матросов не учат. А деваться некуда: надо — и поплыли.

— Между прочим, будто после выучки, стром! — сказал седой эк.

— При чём тут Бог! — кто-то из мелкого начальства поостерёгся смолчать. — Матушка-природа.

— В советской стране и лоси советские! — подбрехнул Гнида, шестёрка. — Звёздами плавают.

Холодом несло с реки. Владимир Фёдорович зябко шевельнул плечами и очнулся.

Селятинская прудка.

Ветер поднялся.

Горло обдало желчью. Надо Натке сказать, чтоб спорыш заварила.

Кристалл

Жену встретил на улице. Шла на рынок, Дашку с собой взяла. Дома Владимир Фёдорович сразу отправился в свой уголок на террасе. Здесь хранилось многое ненужное и старые газеты.

Сел в плетёное креслице. Взял с тумбочки свой камень. Камень был с кепку — горный хрусталь. Подарок эзков, работавших на Байкале.

Кристалл и от природы прозрачный, гладкий, а Владимир Фёдорович шлифовал его рукою никак лет уже сорок. Собирался поставить вместо зеркала в самодельном телескопе. Что хотел углядеть во Вселенной, где он — предел совершенству? Определился недавно. Внучка любит звёзды. Телескоп будет ей подарком на десятилетие. Впереди ещё два года.

Выглаживал камень ладонью левой руки. Взял газету. Большими буквами сверху: «Вчера, сегодня, завтра. Засиб работает». Что-то заводское. На фотографии цех, расплавленный металл. На другой — молодые парни.

Прочитал: «Бегущая волна шахтёрских забастовок продолжает катиться по стране».

— Идиоты!

И пожалел, что осудил. Одурачили шахтёрскую братию, околпачили. Получили своё. Что ни день, взрывы метана, закрытые шахты, оставленные на произвол судьбы не только посёлки — города. Славно боролись, сполна им дадено.

Поглаживая камень, Владимир Фёдорович окинул взглядом свои богатства. Похоже на корзину с выброшенной в мусор Родиной. Родина — это всё-таки время.

Наверху бумажной стопы «Правда». «27 марта 1991 года». Заголовки набраны жирно: «Встреча М.С. Горбачёва с руководителями хозяйств», «Обращение премьер-министра СССР». Ниже: «Мораторий на забастовки», «Защитим человека», «Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года», «Принимая вызов времени: наш собеседник — член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Эстонии (КПСС) Л. Э. Аннус». И три кратких сообщения: «Об открытии третьего (внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР», «К сведению народных депутатов РСФСР» и анонс: «Быть русскими дана нам доля. Статья на 3-й странице». Прочитал в левом столбце: «Встреча Президента СССР с руководителями колхозов, совхозов и других формирований агропромышленного комплекса».

Кто он, Горбачёв? Мелкая сволочь, купившаяся на мировую славу за миллион Нобелевской премии? Такую страну продал за миллион? Завербованный смолоду? Или хоть и предатель, но по малоумию, по тщеславию? Заурядный человечиска, сбитый с толку восторгами Европы и Америки? Герой? Освободитель всего мира... От кого? Да от России.

Коммунистическая идея в исполнении Брежнева для всех была посмешищем.

Но вот ведь какой фокус. Всё, что говорили советские газеты о капитализме мерзкого, — сбылось, и худшее впереди.

Выставил камень на свет. Смотрел в глубину кристалла. Если что-то и есть сокровенного в прозрачном этом чреве, так не для всякого. За сорок лет ни единого намёка на чудо не углядел. Вообще ничего не углядел. Обрадовался приходу Натальи Ивановны и Дашки.

Дашка подождала, когда ей вытрут лапы, пришла на террасу. Смотрела, как проверяла, всё ли в порядке у хозяина?

— Библиотекарушу встретила, — сказала Наталья Ивановна. — У них мероприятие, посвящённое блокаде. Просит, чтобы ты рассказал о пережитом.

— Детям?

— Нет, это для посёлка. Кто-то, может, и будет из школы.

Дашка положила голову на колени Владимира Фёдоровича.

— Вот и собака чувствует, каково вспоминать блокаду.

А в нём уже пошло.

... Дверь не мог отворить на улицу. То ли разбухла после потепления, то ли сил уже нет никаких. Шибанул плечом, а от двери Сашка отвалился, лучший друг. Жажгалки с ним собирали на крыше...

— Володя! — тихонько окликнула Наталья Ивановна.

Посмотрел. Висок потёр.

— Я Сашку в грузовик грузил. Стойма поставили. Стойма вмещалось больше.

Наталья Ивановна прислонилась плечом к шкафу с книгами.

— Господи! Зачем я тебе сказала!

Владимир Фёдорович погладил Дашку, встал.

— Я к ним схожу... Кто-то, может, и поймёт. Живём так, будто этого не было. А оно было.

Приказ русского народа

В Селятинской библиотеке нет зала. Собрались в читальне. Стеллажи с книгами оставляли место для овального длинного стола. За столом — слушатели и выступающие.

Владимир Фёдорович пришёл минута в минуту: на часах двенадцать. Заведующая Наталья Васильевна указала на стул рядом с собой.

— Мы уже начали — все пришли на четверть часа раньше. Нина Викторовна рассказала об окружении Ленинграда, о героизме жителей.

За столом — три сотрудницы библиотеки для взрослых, две — детской. Чашин — у него на всех старожилы Селятина по поэме. Две учительницы первой школы, Нина Викторовна — завуч второй, она-то и привела юношу и девушку — старшеклассников. На дальней стороне стола четыре пенсионерки. Одну Владимир Фёдорович знал: последовательница пророка Иванова зимой босая ходит. Через стол, напротив, ещё слушательница: дочь заведующей читальным залом, первоклашка. С её дедом Владимир Фёдорович живёт в одном подъезде. Ваня — бывший водолаз. В Селятине все бывшие. У Вани стаж работы под водой — одиннадцать тысяч часов.

В общем, народ пришёл.

— Сколько тебе лет? — спросил Владимир Фёдорович первоклашку.

— Восемь и четыре месяца.

Глаза у девочки большие, тёмные. И ресницы тёмные, стрелочками, а брови золотистые.

— Я был старше. Мне шёл тринадцатый в блокаду.

— Продолжайте, Владимир Фёдорович, — попросила Наталья Васильевна.

— С чего начать-то? Ну, мы жили в Стрельне, — и замолчал, соображая, о том ли говорит.

— Рассказывайте всё, как было, — ободрила завуч. — Вы свидетель великого исторического события. Каждая малость бесценна.

— Исторических событий мы не видели, — покачал головой Владимир Фёдорович. — Просто жили... Жили, говорю, мы в Стрельне. В Стрельне я окончил пять классов. Школа помещалась в Константиновском дворце. В настоящем дворце. Первый этаж был наш, законный. А на втором стояли кареты. Царские. Константин — брат двух царей. Он и сам был царём. Один день, жил в Варшаве. Не захотел возвращаться в Петербург, отрёкся от царства. Можно сказать, что и от России.

Девочка подняла руку.

— Вы про войну расскажите.

— Я как раз про войну и говорю. В Стрельню пришёл танковый полк. Мы танкистам папиросы приносили, помогали рыть окопы. Ежи ставили. Из рельсов, чтоб немецкие танки не прошли. Учиться в блокаду не пришлось. Моя школы — крыша.

— Настоящая крыша? — удивилась девочка.

— Ещё какая настоящая, над седьмым этажом. Чтоб чего не пропустить, пойдём по порядку... Мой отец — человек простой. Крестьянин. Вернее, из крестьян. В городе он в магазине работал, ящики, в которых продукты возили, расколачивал... В общем, простой, не очень грамотный, но беду сердцем чувствовал наперёд. Мама работала медсестрой в госпитале. Она на работу спозаранок уехала, а отец проспал. Он и говорит мне: «Володька, айда со мной. Чего тебе одному сидеть. Пальто надень. Подует с Невы — в рубашонке иззябнешься». И одел, и с собой забрал. Уже уходили, а он вернулся, листок с численника сдёрнул: «13 сен-

тября 1941 года». Даже теперь этот листок в глаза стоит... Вот так! Вечером дождались маму и втроём поехали на электричку, на Балтийский вокзал. А радио на вокзале через паузу одно и то же объявляет: «Наши войска в результате тяжёлых боёв оставили Стрельню. Поезда временно отменяются». А люди говорят: «Немцы Сосновку взяли, стоят у Лигова».

И так ясно Владимир Фёдорович увидел всё это: вокзал, люди под громкоговорителем. У кого-то в Стрельне семьи... Куда теперь деваться?

Отец не хуже радио одно и то же твердит: «Хорошо хоть пальто взяли. Одет, слава богу. А вот нас с матерью немец оставил в чём есть».

Мама уже столько крови повидала в госпитале, не растерялась: «Нового ничего не скажут. Идёмте к Анне Кузьминичне».

А отец своё: «В чём есть немец нас оставил».

Мама крепко так взяла отца за руку: «Телеса чем-нибудь прикроем... Погребка лишились — вот это худо».

О погребке всю блокаду помнили. Мама как человек, нужный фронту, получала 250 граммов хлеба, отец — 175, подростку на день полагалось 125...

Затянулась пауза... А Владимир Фёдорович ещё и воздух в себя потянул, но вспомнить запаха пайки не получилось. Девочка держала руку, согнув в локте. Видимо, повторила вопрос.

— А как вы с немцами воевали?

— Трамвай номер 25, — сказал Владимир Фёдорович. — Мы на этом трамвае ездили на Балтийский вокзал.

Посмотрел на девочку.

— Воевали красноармейцы, а нам, жителям, нужно было перетерпеть войну. Главное, остаться живыми.

— У вас был такой приказ?

— Да, был такой приказ, — согласился Владимир Фёдорович. — Приказ русского народа.

— Кто же вас всё-таки пускал на крышу? — изумилась завуч.

— Управдом тётя Зина. Окаймление крыши было леерное: не падали.

— Зажигательные бомбы тоже ведь бомбы! Взрослые позволяли детям... Я понимаю, — война, но любая оплошность — и ожог. Напалмом!

— Детей Господь бережёт! — сказала пенсионерка, ходящая по снегу босиком.

— Всяко бывало! — Владимир Фёдорович показал на крошечный шрам под левым глазом. — Я её дёрнул, да она успела крышу прожечь. Со всей натуги на себя — искрами сыпанула. Одна искра в глаз. Всё померкло, а всё равно не бросил, донёс до ящика, в песке утопил... Светка, хоть и моложе была, потащила меня в санчасть. Санчасть тётя Зина в подвале разместила. Домовую. Искра попала в косточку под глазом. — Капли уж такие жгучие! Мне Дина из пипетки закапала, она в седьмой перешла, а рану обрабатывала её мама. Говорили, у неё имеется диплом врача, но работала в опере: шила платья королевам.

Владимир Фёдорович спохватился. Он что-то рассказывал, а что-то чередую проносилось в глубинах памяти.

— Короче говоря, зажигалки для блокады — детская забава, — сказал это завучу. — Я не шучу. Шпионы доложили немцам: вреда, мол, почти никакого. И лётчики стали кидать ящики с зажигалками. К ящику подступиться не просто...

Вдруг вспомнилось.

— Мы однажды с отцом целый час сидели под аркой. Со стороны улицы обстрел, и фугасная бомба разорвалась. Асфальт разворотила, выгребла волной старую каменку, может, петровскую... И шибанула камнями по стене, по окнам, а к нам под арку только запах. Тритильный. А с другой стороны арки горели два ящика зажигалок. Вот мы и ждали, когда сгорят. Да только ждать — это жить.

— А мы-то нынче разве живём, ожидая? — Наталья Васильевна даже порозовела. — Мы замираем, а времечко течёт.

Мысль была неожиданная.

— Верно! — согласился Владимир Фёдорович. — А в Ленинграде, мальчишками, мы умели жить всякую минуту. Если подумать, ведь на самом деле надо было гнать чем попало ту жизнь... Теперь даже представить себе не сумею, что было во мне и во всех наших ребятах... Скакать по крыше с бомбами — дело дикое, но это и было нашей жизнью. Это было нормально, даже если тебя разбомбили... Квартира Анны Кузьминичны на Лиговском проспекте, рядом с кинотеатром «Шторм»... В тот вечер я никого из наших ребят не встретил,

один пошёл на «Джувльбарса». Джувльбарс — овчарка. Пограничник. В Стрельне я двадцать раз «Джувльбарса» смотрел, а на том сеансе кинемеханик всего одну часть успел прокрутить. Объявил: «Воздушная тревога». Бомбоубежище находилось под зрительным залом. Нас в «Шторме» было две девочки и пацанов человек пятнадцать. Из взрослых — никого. Кинемеханик поленился в подвал спуститься. Я даже места себе не выбрал, где сидеть. Ухнуло! Пол подпрыгнул, и — тьма. Прямое попадание... Но — тихо, все живые. Потом девочки заплакали. Тут до меня и дошло: я у них самый старший. Вот и скомандовал:

— Вставайте! Идти надо по стенке, ощупью. Где потянет воздухом, там выход.

Но они маленькие, испугались. А я чую — струйка холодная. Ножик всегда в кармане, перочинный, с тремя лезвиями. Поковырял в трещине, руками крошево разгрёб — свет. Совсем щёлочка.

Девочки меня оттолкнули, стали кричать. У девчонок голоса писклявые — далеко слышно. Мужчина подошёл. Ополченец.

— Терпите! Красноармейцев пойду позову.

Через час, может, поменьше, машина загнудела. Вход в бомбоубежище загораживал упавший марш лестницы. Тягачом оттащили.

Вышли на улицу, а уже сумерки. Но света — весь мир. Гляжу, а у одной девочки — лицо белей бумаги, глазки закатились. Нашатырный спирт ей нюхать давали. И нам тоже.

Владимиру Фёдоровичу показалось: его внимательная слушательница что-то очень часто глазками моргает. Спросил:

— Понимаешь, какой я счастливый?

— Понимаю, — сказала девочка. — Вы всё ещё живой.

И смотрела, смотрела...

— Живёхонек! Я, когда собирался к вам, в энциклопедию заглянул. За три месяца 41 года, с сентября по ноябрь, немцы сбросили на Ленинград и на меня 64930 зажигательных бомб, 3055 бомб фугасных, а снарядов из пушек было выпущено 30154. Не знаю, как это подсчитано. Выходит, бомбы, снаряды, пули после первых трёх месяцев искали меня ещё целых три года.

— И не нашли, — тихо сказала девочка.

— Немцы — народ, уважающий порядок. Воевали по расписанию. Мы все знали: с шести утра до двенадцати дня — обстрел, а бомбёжки с восьми. Перерыв на обед до часа. С часа до шести вечера, до ужина, опять обстрел. В шесть часов вечера обязательная бомбёжка.

— Вы не прятались, а немцы ни разу вас не нашли! — у девочки глаза сияли.

— Один снаряд близко разорвался. Меня к стене волной прижало. Сам очухался. Другой раз фугасная бомба возле маминой работы упала, у госпиталя. Меня подкинуло метров на пять, шибануло о ворота. Сознание потерял, но людей было много, отходили... Ну, что ещё?

— Какая помощь была от вас городу? — спросила первоклашка.

— А ведь была! — обрадовался вопросу Владимир Фёдорович. — Сколько мы погасили зажигалок, не знаю. Без счёту. В песок её, пшикнула, и за другой. А вот когда зима пришла, наша братва наловчилась из двух санок короба соорудать.

И язык прикусил.

Хватило ума промолчать о самой полезной работе для Ленинграда.

Господи! А ведь это была ежедневная работа. Не подвиг, даже не заработок куска жмыха. Нужное, обыкновенное дело мальчиков тринадцати лет. Окоченевший труп умершего на улице человека или убитого они шестером втаскивали в короб из двух соединённых санок и, трое впереди, трое позади, меняясь, везли на Волковское кладбище. Убрали с улиц за зиму 42-го года шестьдесят семь трупов. Тут счёт был. Тётя Зина благодарила, и награда была: по две плитки жмыха. Плитки огромные, со школьный портфель. Всё это чуть не ухнул на первоклассницу. Покашлял, воды выпил.

— Вот так. Вообще, санки были такое же счастье, как теперь «мерседес». Воду на салазках возили. От нашего дома до воды добраться — три раза под обстрел попасть. Помню, какая-то протока. Лёд метровой. Ляжешь, кружкой черпаешь, а потом в ведро...

По читальне шумок пошёл: за стол садилась Татьяна, та самая женщина, возражавшая проектировщице.

— Простите! Я совсем опоздала? — спросила Татьяна.

— Ничего, — ободрил Владимир Фёдорович. — Блокада — это горе. Не всё-то горе мира надо нам на себя взваливать.

— Оно наше, — не согласилась Татьяна. — Не знать горя своего народа — страшный грех. Горе, которое народ пережил, его сила, его дух.

— Что у тебя случилось? — спросила библиотечкарь.

— Вчера у прокурора была, сегодня у следователя.

— И что?

— Обещают посадить на четыре дня.

— Дня или года? — уточнил Чашин.

Юноша и девушка засмеялись, но тотчас примолкли.

— Какую причину надумали? — спросил Чашин.

— Я перекрыла движение.

— Где? Когда?

— Когда спилили лес возле госпиталя; мы действительно загородили дорогу КамАЗам.

— Лес спилили? Возле госпиталя? — изумился Владимир Фёдорович. — Берёзовую рощу? С дятлами?

— Берёзовую рощу. Теперь готовятся истребить лес за госпиталем и за больницей — семьдесят три гектара.

— Прокурор во всём этом нарушения закона не видит? — спросила Наталья Васильевна.

— Это же одна малина: хозяин треста, наш Птенчик, и, разумеется, вся государь района! — сказала это пенсионерка.

У библиотечкари заплыла щёки. От Птенчикова она очень даже зависела, и от районной власти тоже.

— Товарищи! Вернее, господа. Мы отвлеклись. У нас встреча с ветераном, с блокадником.

— Всё в порядке, — успокоил библиотечкаря Владимир Фёдорович, — я закончил.

— Нет-нет! Мы вас так не отпустим! — щёки библиотечкари были уже пунцовые. — Расскажите о самом важном. Что являлось во время блокады светом? К чему вы стремились?

Затеваается вырубка леса, милую женщину, не согласную с начальством, затакачивают в тюрьму: море демократии.

Владимир Фёдорович отодвинул стул, чтобы уйти, но девочка снова тянула руку.

— А какая еда была в блокаду?
 — Вот это вопрос по делу, — сказал девочке блокадник. — Мы в нашей семье питались строганиной.

— Строганина — это вроде бы рыба?! — удивился Чащин.

— Блокадная строганина — иное. Мы с отцом нашли военный склад. Его разбомбили, конечно. Но мы среди мусора отыскивали португалии, кожаные ремни, четыре кобуры и главное — подмётки и выкройки голенищ офицерских кожаных сапог. Сахарного песка нагребли пять вёдер, смешанного с пылью, с кирпичной крошкой... Ну вот! Подмётки и ремни строга-ли на тонкие пластины, потому что строганина.

Владимир Фёдорович пошёл было из-за стола, но вернулся.

— Впрочем, мы меню разнообразили. У тётушки нашей, у Анны Кузьминичны, квартира была из пяти комнат. Она эвакуировалась с заводом. Представляете, нам достались пять комнат с обоями, и все пять на клейстере из муки. И от государства втроём: папа, мама и я — получали пятьсот пятьдесят граммов хлеба. Впрочем, про строганину закончу.

Он говорил это, но слышал себя издали. Уп-лыл бы, да не отпускали глаза девочки. Смотрела на него, смотрела, смотрела сквозь время и пространство.

— Отец в чулане Анны Кузьминичны нашёл косу, — слышал себя Владимир Фёдорович. — Анна Кузьминична из нашей деревни, под Переславлем-Залесским. Наша. Вот и взяла в город самое нужное в крестьянской жизни. А старший сын у неё был коммунист, секретарь.

Снял с полки книгу в переплёте, шаркал по обложке ладонью.

— Куском косы вот так, вот так, — отец делил кожу на пластины, чтоб были чуть ли не на просвет...

Умолк, опустил руки. Глаза прикрыл веками, потому что в этот самый миг он стоял в очереди за хлебом. Там, у себя... Тот хлеб был зелёный. Китаец пекарь добавлял в муку зелёные помидоры, иначе бы не хватило... А в сторонке, уставясь на руки продавщицы, выдававшей хлебные пайки, смотрела мама Дины, подлечившая ему глаз, обожжённый искрой зажигательной бомбы.

Лицо у неё было в пепле, Володька удивился: целую неделю немцы зажигательных бомб не бросают, квартал даже из орудий не обстреливали. Что-то затевается, но пока передышка, пожаров не было, и пепла не было.

Он снова посмотрел в сторону мамы Дины, когда был уже седьмым в очереди.

Китаец подал продавщице очередную буханку, она разрежала её пополам. Половина осталась у китайца в руках, другую половину продавщица принялась делить на самые маленькие пайки по 125 граммов, потому что пришла Светкина очередь, у неё пятеро маленьких братьев.

Володька видел: мама Дины смотрела на свои повисшие с плеч руки. Догадался: сообщает, как их поднять.

И вдруг мама Дины кинулась к прилавку. Пальцы как когти. Вырвала из буханки у китайца кусок мякиша, зелёный, липкий. Её сразу схватили, но другой рукой она била наотмашь, как Чапаев саблей.

— У меня трое! Два года, четыре и четырнадцать. Хотя бы воробынью пайку. Хотя что-то на язык.

И щерил зубы, как кошка. Подойдёшь — загрызёт.

— ...Владимир Фёдорович! — долетело до рассказчика из такого далека, как другая жизнь.

— Она ушла, её не посмели остановить, — сказал Владимир Фёдорович.

На него смотрели, не понимая.

— Владимир Фёдорович! — поднялась библиотечка.

— Простите! — Он поклонился. — Вспомнил, как женщина хотела спасти детей. Они все умерли. И дети, и сама... А у нас была строганина. Строганину мы кипятили. Первый бульон выливали. Размягчённой кожей заправляли кастрюлю... Второе варево шло для еды.

Врачи в Переславле-Залесском поставят диагноз блокаднику-школьнику: выпячивание желудка. Плохо пережёвывал строганину из солдатских подмёток. Разжевать — зубов бы не хватило, но проглотил — и желудку есть что переваривать. Для поддержания жизни в подмётках сапог красных командиров нечто полезное имелось.

— Вас уже спрашивали, но всё-таки, — будто через пелену пробился очередной вопрос. — Дорогой Владимир Фёдорович, скажите, а хорошие дни... бывали?

Спрашивала завуч. Пожал плечами.

— Все дни были хорошие. Проснулся — значит, живой. А были ещё дни счастливые. Мы со Светкой и Сашей пробрались в Лиговку, на дачу к Анне Кузьминичне. Это было в октябре. Морозы землю приморозили, но ещё не очень. Мы кочерыжки дёргали. Немцы нам орали. Здоровенные мужики. Солдаты, понятное дело, но никто из них ни разу не стрелял. Мы их хорошо видели, но я в тот день принёс домой мешок кочерыжек. Мама насослила три ведра. Всю зиму у нас были щи почти что капустные.

— И вы — живой! — тихо сказала девочка.

— Бог берёт для хороших дел! — твёрдо ответил. — За восемьсот пятьдесят дней, а наша семья была в блокаде восемьсот пятьдесят один день — у меня всего две контузии... Человеческая порода очень даже живучая.

Девочка в который раз подняла руку.

— А мы сможем, как вы?

— Сможете, — сказал Владимир Фёдорович. — Вы же русские.

Дина

Дома горестно спохватился.

— Я не сказал ей про очень важное. Ах ты господи!.. Склероз... Да ещё Татьяна ошарашила.

Наталья Ивановна ничего понять не могла.

— О чём ты не сказал? Кому? Какая Татьяна?

— Татьяна — защитница леса. Её к следователю таскали... Вину придумывают... А всё, что я там говорил, — для одной девочки. Для внучки нашего водолаза. Весёлого в моих рассказах, сама знаешь, а она слушала. Она меня выпрашивала. А про самое «то» — не сказал.

— Про что про «то»?

— О записках.

Наталья Ивановна села рядом.

— Нынче даже в Кремле Бога любят, но для вас в ту пору, да и сегодня, это же сокровенное.

— Сокровенное, — согласился Владимир Фёдорович. — Но ведь и скрывать это, пусть сокровен-

ное, — большой грех. Мы жили не такой жизнью, как теперешние. Нас такими растили... А живы по единственной причине: Бог не оставил русскую землю, нас не оставил. Девочка — умница. Об этом она должна знать в первую очередь.

Сидели друг возле друга, родные.

Гнать Бога с русской земли начали в Петрограде. А в Ленинграде, когда смерть стояла у каждого порога, и о Христе вспомнили, и о Богородице, и о святых.

Светка узнала о блаженной весной 42-го. В Светкином подъезде умерли семнадцать человек, все Светкины братья, кроме малышки. В других подъездах, где детей помногу, тоже убыль была большая.

В тот день они дежурили со Светкой, ждали налётов. Сидели у тёти Зины в кабинете, слушали радио: Берггольц свои стихи читала. Светка вдруг прислонилась губами к уху и стала шептать.

— Кто хочет жить, пишут записки блаженной. На Смоленское кладбище надо идти. Записки кладут на святую могилу.

За полгода до войны пятнадцатиклассники из Стрельни возили в Казанский собор, в Музей истории религии и атеизма.

Показывали мощи. Не пошёл посмотреть, за спинами ребят прятался. Помнил деревенскую жизнь, как они с бабушкой зажигали перед иконой Богородицы свечу, как бабушка учила его молиться за папу, за маму...

Не посмел глазеть на музейный экспонат... А Светкин рассказ — дело верное. Согласился сразу.

— Пошли! Ждать нам нечего. Только чего писать-то?

— Нужно написать имена, о ком просишь. Чтоб дала жизнь. Твоему папе, твоей маме, всем, кого жалеешь.

Позвали Сашку и пошли втроём.

В записке он написал имена мамы, папы, брата Андрея — на фронте воевал. Записал Дину, её маму, её братьев, Светку, её братика. Места не оставалось — Сашку, тётю Зину записал мелкими буквами.

По дороге их два раза бомбили. Пересидели в бомбоубежищах. Пробрались к кладбищу — опять налёт, сиганули в старую воронку, а там вода.

Его записка размокла. Сашка оторвал кусочек от своей, карандаш у него тоже был. Чтоб не ошибиться, спросил у Светки, для верности:

– Как написать-то?

– Пиши: «Хочут жить», а дальше имена.

Эти два слова «хочут жить» на клочке бумаги заняли много места. Уместились: Капитолина – мама, Фёдор – папа, Андрей – брат, Владимир – это он сам. Букву «р» пришлось сверху приписать. Записки они положили под кирпич.

– ...Ну что ты загоревал? – ласковая рука у Натальи Ивановны. – Внучку Ивана Никитича зовут Лизонька, придёт к нему в гости, тогда и расскажешь про святую Ксению Петербургскую.

– Мы не знали, как её зовут. Я ведь о чём вдруг подумал: все, кого мы записали, уцелели! Светкина мама блокаду пережила, Сашкины родители тоже выжили. Но Светка-то, но Сашка-то! Они же себя не записали, и я во второй записке их не записал. И Дину не записал. Бумажка у меня была в два пальца.

Вся блокадная жизнь вспучилась, ухнула в сердце на мгновение и померкла.

– Надо всех помянуть, кого помнишь, – сказала Наталья Ивановна.

– Поминаю! – головой вскрутил. – Тогда надо было поминать, живых.

Суп у Натальи Ивановны был его любимый – лапша на курином бульоне. Курица деревенская, выращена в курятнике, тесто для лапши своими руками замешивала. Вкусно.

После обеда прилёт: отойти от всего. И на тебе! Пожаловала Лола Ахматовна – директор всех столовых, где им с Наткой пришлось строить очередное нечто.

– Татьяну отвезла на суд. Суд шёл три минуты. В Можайск нашу бунтарку отправили. Четверо суток будет сидеть за свою и за нашу правду.

– С меня довольно! – сказал Владимир Фёдорович женщинам. – Поеду на дачу, в лес, пока его не спилили.

* * *

Уехал на электричке. Всего одна остановка и пятнадцать минут пешком. Обрадовался деревьям, и деревья, встречая, смыкались теснее.

Занёс в дом рюкзак, сел на крыльце. Небо над соснами нежное, а между деревьями разлившееся, как желток, солнце. Всё в золоте: деревья, воздух, золото на руках и, должно быть, на лице. Жар заката яркий, но не ощутим. В струйках ветерков вечер. Вечер на цветах сада, на травах, на кронах яблонь. На земле вечер. Земля дышит, хорошо дышит, как юная женщина.

Сидел, не думая ни о чём, ничего в себе не держал и до того, зная, слился со своим клочком леса, сада, со своим домом, что какие-то мгновения, минуты, вообще время – прошли мимо него. Увидел звезду, и тотчас Дина встала перед глазами. Не та с пипеткой, когда капала жгучие капли, спасая ему глаза. Не та, сидящая на скамейке во дворе с томиком Пушкина.

Она была белее белого снега, выпавшего ночью. Она вся была как снег.

Зимой Дина носила шубку, пушистую, пушистые унты, шапка у неё была как одуванчик. Всё это белое, но не как снег. Живое, золотистое. А платье её мама сшила для Дины из тёмно-синего бархата. Из лоскутов, оставшихся от царичьих нарядов.

Мародёры, сволочи, раздели.

Мальчик, Володька, знал безобразное слово, каким называют у девочек то, почему они и есть девочки. Но он ещё ни разу не видел это. А тут они шестером подняли Дину из снега и положили в короб, замёрзшую, ограбленную.

Глаза никуда не денешь. Ему пришлось сначала толкать сзади. Он не смотрел туда, куда смотреть нечестно. Но, разгибаясь, вымученный, увидел сразу всю Дину.

Одна рука у неё была на груди. Тоненькая, белая, как у фарфоровой балерины, в самом низу живота клинышек. Раздвоенный. И когда он увидел всю Дину, ему не было стыдно. Это же так на всей земле, у всех женщин. Это Бог так сотворил.

Но во всякую новую передышку он смотрел на лицо Дины. Лицо было белее снега. Это была белизна совсем другая, такой белизны он ещё не видел и потом не видел, прожив семьдесят лет.

Глаза у Дины не были закрыты. Никто из ребят, даже Светка, не умели закрывать глаза окоченевшим.

Дина смотрела в небо, но много дальше облаков, потому что небо в её замерших глазах отражалось самое синее – Богово.

Они долго были с Диной, до Волковского кладбища далеко.

Как такое рассказать Лизоньке? Зачем?

Это всё навеки его.

И — вздрогнул. Он ведь смотрел Дине в глаза, потому что хотел увидеть смерть. Чтоб знать. Но в глазах Дины стояло недоступное небо.

Владимиру Фёдоровичу нестерпимо, невыносимо захотелось в Переславль-Залесский, где отживали после блокады.

Башня

Нужны луковица, чёрный хлеб, соль, копилка. Хлеб он привёз из дома, соль в шкафчике, луковицы нет. С грядки можно взять!

Для копилки надобны керосин, пузырёк, фитилёк...

— Лампадка!

Очень похоже.

Сошёл с крыльца. Небо померкло, но светится, а на земле — тьма.

Грядка лука за домом. Там, сразу за огородиком, где кроме лука три грядки огурцов, грядка гороха, грядка моркови и на плантации пять метров на пять — клубника, по клубнике — чеснок.

Зелёный лук — хорошо, но нужна луковица. Подкопал пальцами, нащупал клубень. С ногой на большом пальце, но всё-таки. Пёрышки, конечно, тоже вкусно.

Разогнул спину, всматриваясь во тьму сосен. Кто-то щеки коснулся. Быстро, весело. Ахнул про себя. Он, когда жили у бабушки в Переславле, до переезда в Стрельню, выходил вечером к деревьям. С ветром у него была дружба.

— Неужто тот самый!

Постоял, подождал — само детство, что ли? Пошёл домой.

В Переславле-Залесском, когда они вырвались из блокады, электричество по вечерам давали на два часа. Книги он читал, зажигая копилку. Ломоть хлеба, посыпанный солью, луковица — и «Страшная месть» Гоголя. Вкусно, светло, страшно. Страх желанный — родня тайны.

Расположился Владимир Фёдорович на кухне. У лампы язычок огня поменьше, чем у

копилки, фитиль он всегда брал пошире, зато нет копоти.

Свет отбирал у тьмы половину стола. Снял с полки первый том Николая Васильевича. Издание «Библиотеки «Огонька». От ветхости обложка сама собой отпала, держится на матерчатой полоске.

Открыл том где откроется, но сам-то знал, какая выпадет страница.

Вышло: та самая.

Владимир Фёдорович по сию пору читал без очков.

Глаза нашли нужную строчку: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская...»

Дальше про Карпатские горы, про рыцаря с закрытыми очами... Самая жуткая повесть школьной поры.

Владимир Фёдорович сидел замерев, очей не закрывал.

Погасил пальцами лампадку. Снова вышел на крыльцо.

Флоксами пахло, табаками.

Ночь своё взяла, но тьма не была тьмой: звёзды горели.

Владимир Фёдорович обогнул дом.

— Вот она.

Сказано было о башне. Белая, круглая — настоящий столп. На звёзды в детстве насмотреться не пришлось, тем более когда работал. Но теперь-то всё время твоё. И звёзды твои.

Башню он сложил сам. От основания до купола двадцать семь метров, чтоб свет из окон не мешал смотреть на Вселенную.

Башня круглая, стены из тесаного белого камня, «Дубраву» из него собирались возвести.

Изнутри само помещение обсерватории он выложил кирпичом: внучке зимой холодно не будет.

Ступени внутри — винтом.

Высота купола два тридцать. Прозрачный. Когда темнеет, сливается с небом. Но столп всё-таки светится.

Владимир Фёдорович подошёл к башне, положил обе руки на камни. Непонятно что, но ощущали. Сказать, камень как живой, — это будет правдой, но Владимир Фёдорович уловил в шероховатостях доверчивость, а на самом-то деле — благодарность.

Посмотрел вверх — столп не мог быть источником света, но улавливал крохи дня из сумерек и отдавал этот свет земле, небу и ему.

Пришло на ум: а Симеон Столпник, должно быть, на таком вот стоял. Сорок семь лет. Перед Богом.

Отходил Владимир Фёдорович от столпа, глядя на его вершину. Вот ведь каких людей земля рождала! Ради молитв подвижников и солнце не погасло, и земля жива, не сошла с пути благословенного.

— Главное, не для показа! — сказалось вслух. Видимо, о столпниках. Не для показа себя стояли, ради правды.

Белой тропкой пошёл к дому, но остановился, искал глазами любимую одинокую звезду. Является, когда и светло, и добрых полчаса одинока в небе. Про столпников опять подумал: открывается ли столпникам запах звёздного океана, запах звёзд, звёздных туманов Млечного пути? У солнца аромат явный, сильный. Лунный свет всё-таки без аромата. К нему тянешься, а потом что-то чужое, не пускающее к себе.

Потрогал языком зуб, даже не понял, когда кусочек откололся. Зубами придётся заниматься.

Но о болячках даже думать не хотелось.

Лекарств на ночь не выпил, разделся в темноте, лёг и заснул. Уж очень много вместил минувший день. Конечно, всё, что прошло перед глазами, — пережитое.

Пережитое, а будто явь.

Пережитое, а настоящая жизнь.

Хорошо уснул.

Свете тихий

В Селятине протезистов двое. Молодая женщина Светлана, но к ней очередь, и Василь Василеч, большой специалист: свёрнутые челюсти на место ставит, — десять лет был главным врачом района. К нему — никого.

Владимир Фёдорович с Василь Василечем — старожилы Селятина. Неприлично отказываться от услуг почти родного человека — водочку, было дело, пивали.

Специалист напирал пузцом, дышал перегазом. Это уж ладно бы! Но у Светланы на ручках — пальчики, а тут лапы, и на лапах — брёвна. Омерзение от огромных пальцев во рту сменилось покорностью.

Куда теперь деваться? Впрочем, Василь Василеч работал основательно, не торопился. Это тоже надо ценить. Бормашина — она и у Светланы бормашина.

Часа не прошло — всё лишнее сточено, слепки сделаны, примерка в понедельник. А сегодня уже четверг.

Вышел Владимир Фёдорович на волю — и сразу под куполами.

Церковь освятили полтора года тому назад, а первую службу батюшки отслужили только в нынешнюю Пасху. Хозяин теперешнего «Гидромонтажа» наказал упрямых селятинцев: не дал денег на завершение внутренней отделки храма. Лес им, видите ли, нужен? Впрочем, и батюшки хороши: разрешили спилить гигантские ели — загоразивали церковь со стороны улицы. Ненависть к дереву, как у древних обитателей дремучих русских боров.

Нога у Владимира Фёдоровича побаливала, а ступени в храм высокие, к высокому ведут. Двери открыты, вошёл и ахнул — внутренне: побеленное помещение. На росписи у администрации денег нет. Две большие резные иконы перенесены из деревянного храма. Словно бы чужие здесь. Место ненамоленное.

На престоле семисвечник. От престола веяло теплом и сокровенностью: Господь с нами.

Бабушка говорила: церковь — Богов дом. Бабушка на клиросе пела. Голос у неё домашний, ласковый. С таким голосом из хора выделиться невозможно, так хор не то место, где выделяются: поёт едино, слитно — молитва общая.

Бабушка свою ниточку вела скромнѐхонько, да только Владимир Фёдорович слышал это ласковое тепло. Чувствовал себя частицей сокровенности, уловимого душою дыхания, исходящего с престола через Царские Врата.

Ту летнюю сессию он сдал досрочно, на неделю раньше приехал из Москвы.

С автобуса чуть ли не бегом, а дверь дома закрыта.

В церковь. Поют!

Чемодан под лавку, а сам на любимое место, под своды, перед евангелистом Иоанном Богословом. Иоанн с орлом. Крылья у орла подняты — гроза небесная, и евангелист — гроза: взор, как молния, устремлённая в вечность.

Когда в детстве читали с бабушкой «Откровение», она показала ему самое заветное слово Иоанново: «И ничего уже не будет проклятого».

— Пусть эти слова станут твоими, — напрогорила бабушка. — Веруй, и всё в твоей жизни само собой устроится.

В тот день, стоя перед столпом Иоанна-евангелиста, он вспомнил почему-то другие слова «Откровения»: «И ночи не будет там».

На клиросе как раз изумительное пели: «Свете тихий». Студент дыхание затаил, уловив в хоре ласки дома родного, ниточку бабушки. И будто потолок на голову — матерщина. Ярая, злобная — поругание всего, что хорошо.

Прихожане, как от чумы, по сторонам шарахнулись... На курьих ножках через раздавленных прихожан, через всё пространство просторного храма — Полчеловека, Глиста вонючая, Валериан Валерианович — комендант рабочего общежития.

— Ленинский субботник, а они распелись, растаки-то ваши, туды да сюды! Сознательный народ трудится на благо СССР, а они, подпевалы поповские, тянут советского человека назад, в трясины царизма.

Орёт дурак, но — служба. Певчие поют. И тут Валериан-то Валерианович — Полчеловека, Глиста вонючая — разгневался во всю пролетарскую мощь. Сиганул на клирос, женщине-регенту сапогом под колено, скинул старичка-тенора, ухватил бабушку студента за шиворот, поволок за собой по ступеням. Все знали, Полчеловека посадил за один только май трёх порядочных жителей с улицы, ведущей к церкви. Школьного сторожа — человека с высшим образованием: служил начальником почты в Первую мировую; героического деда — по праздникам надевал шинель с Георгиевским крестом, и Антонину Красногорскую — актрису немого кино. Театральный кружок вела в педучилище. Оскорбила Глисту вонючую, пришёл свататься

в красном галифе, а она прищемила жениху пальцы дверью. Но студент третьего уже курса не соображал, кинулся на помощь бабушке и врезал коменданту рабочего общежития кулаком точнёхонько между глаз.

Полчеловека рухнул на колени и завизжал по-бабьи:

— У-у-убива-а-ають!

Через мгновение студенту, не успевшему даже поздороваться с бабушкой, заломили руки — и в воронок. Валериан Валерианович был не прост — с милицией пожаловал к молящимся.

Расправа с защитником бабушки и стариков была скорая: пять лет по 58-й статье. В телятник с решёткой — и поехали. На холода.

...Кто-то пел молитвы. Владимир Фёдорович очнулся от пережитого.

Голос из алтаря. Батюшка, должно быть, молится. Подобрело сердце. Стены, верно, новёхонькие, да церковь вечная.

Поклонился престолу, вышел на паперть — поклонился храму, иконе над входом, кресту в небе и Христу.

Жизнь в человеке ворохтается в духоте, в тесноте, но душа открыта хорошему. Это ведь и есть жизнь: всё пережить, дотерпеть до разумных, до радующих дней.

Из пережитого тоже есть что оценить по высшей правде. По совести. Совесть в человеке — Бог.

— Господи, Ты всё ведаешь. Не за Тебя пострадал тот смелый паренёк, какой был во мне. За бабушку.

Уж такая она, правда.

Господь, может, и улыбнулся бы: студент восстал против гонителя христиан, да во время службы, не испугался Полчеловека, хотя знал, что это сексот, обрекающий доносами добрых, боголюбивых людей на тюрьму, на Сибирь.

Да только зачем выдумывать, прошлым своим величаться. Ему срок вкатили за противодействие советской власти, за хищное воинствующее мракобесие. Обвинители даже не заметили нелепость формулировки: это ведь Христос бесов изгонял из людей, это Христос отодвинул мрак за пределы Вселенной.

Всё это нелепое крутилось в голове, а навстречу шла женщина. Издали очень красивая, но когда была близко, увидел: вся эта кра-

сота нарисованная, макияж откровенный, нарочитый. Богово, своё, напрочь замалевала, невольно оглянулся: разрез юбки у модницы дальше уж некуда.

Осадил себя.

– Не суди!

Девочки стайкой обогнали. Хорошенькие, счастливые, из школы торопятся. И как ветерки – матерки. Не сердятся, щебечут и не замечают, что с губ у них мерзкие жабы соскакивают.

– Вот они, ангелы наши! – вслух сказал и опять смирил себя.

– Не суди, старик!

Остановился, повернулся лицом к церкви, смотрел на купола золотые, на кресты.

– Господи, помилуй! Свете тихий, святые...

А дальше слов в нём не было, забыл любимую с детства молитву.

– Свете тихий... Свете тихий.

У берёзы

Он вставал в пять утра – удобное время для молитвы. Когда были дети, дети спали. И на всех своих стройках, вольных и за колючей проволокой, он, ранняя птаха, обретал время, ему принадлежащее.

Читал утренние молитвы Троице, Иисусу Христу, Святому Духу, клал двенадцать поклонов и заканчивал моление «Символом веры», прошением о здравии близких, о помиловании ушедших в вечность, но бывших его жизнью.

Сегодня он спал по-детски крепко, по-детски долго.

Разбудил вкусный запах разогретых творожников.

– Как же я машину не услышал? – удивился Владимир Фёдорович.

Наталья Ивановна улыбнулась.

– В гараж не заводила. За воротами оставила.

– А где Дашка?

– В смородине дрыхнет.

Дашка любила полежать среди кустов смородины.

Вечером дача была неудобной громадой, но явилась Наталья Ивановна, и помещение стало тотчас домом.

Владимир Фёдорович покосился на стол, и тоска, угасшая было, нашла причину пробраться в сердце.

Стол семейства. Когда-то Владимир Фёдорович уж так обрадовался большому столу. Продавец просил цену немалую, пришлось занять деньги у своих рабочих. Зато на даче с того дня обедать садились всем миром: четверо детей, отец и мать Владимира Фёдоровича, мать Натальи Ивановны, сама Наталья Ивановна и он, по правую руку от своего отца, от Фёдора Гавриловича.

Дача у них смахивала на барак, зато никому тесно не было, у каждого своя комната.

– Ты чего куksiшься? – угадала Наталья Ивановна скрытое томление мужа.

Показал на пустую часть стола.

– Если сами уж такие занятые, могли бы внуков привезти.

– Верочку привезут, – сказала Наталья Ивановна. – Сердиться на наших ребят – грех.

Конечно, грех! Старший, Иван Владимирович, в Приморье осел. Это и впрямь далеко.

Елена ещё дальше. Место жительства Буэнос-Айрес – сотрудник посольства. Но Васка-то – бурильщик! Бурят они бог знает где, так ведь работают вахтами. Зачем им Тюмень! Можно было в Селятине обосноваться, в Москве на худой конец. Две недели – дома, две – в тундре. Младшая, Наташенька, как раз в Москве. Кондитер. Сладкую жизнь устроила бы Васькиным глазастикам. Трех девок родил!

– Пишут по компьютеру, звонят! – заступилась за детей Наталья Ивановна.

– По скайпу! По праздникам!

– Чем тебе не угодил скайп? Всех видишь, а что по праздникам – значит, помнят, уважают. Праздников у нас много: церковные, семейные, советские, нынешних властей.

– Вот именно – властей! – хмыкнул Владимир Фёдорович.

– Народу нашему всё равно чего праздновать, был бы день нерабочий.

– А вот это не для всех радость! – поднялся, подошёл к Наталье Ивановне, поцеловал, а она глаза прикрыла. Так у них повелось издавна. – Вкусные творожники. Спасибо тебе, родная, к берёзе схожу.

К берёзе Владимир Фёдорович ходил как на

исповедь. Дашка уже у ног, радостно помахивает хвостом. Кинулась показывать дорогу, будто знала, куда направляется хозяин. А ведь последний раз у берёзы они были в апреле, в половодье. В еловом лесу лежал снег. Малая Десна разлилась как большая река. В апреле берёза, ради которой они приходили сюда, светилась, как светятся девочки по весне.

Теперь в пойме бушевала трава. Травяные разливы готовят праздник цветов в июле.

— Дашка, река-то где? — засомневался Владимир Фёдорович — туда ли забрели... И вырвалось: — Боже мой!

Ряска пожрала Малую Десну. Владимир Фёдорович, ища сочувствие, придвинулся к берёзе.

— Речек себя лишили окончательно.

Берёза, и теперь светившая вокруг себя — так невесты на свадьбах без оглядки делятся с гостями и со всем белым светом счастьем, вершину зелёнокудрую уносила невероятно как высоко. Владимиру Фёдоровичу вдруг почудилось: от обиды сбежала с земли на небо.

Может, и на него в обиде. Не изумился, как обычно, красотой, белизной. На всех людей — в обиде, на этот самый народ, до того загадивший землю, что реки не текут — стоят в недоумении, а вода — в детстве светлая, кристальная, пахнет ладно бы болотом, но мерзостью отхожего места. Владимир Фёдорович прижался к берёзе щекою. Береста шёлковая.

— Что-то, милая, не так... До того не так — дальше некуда.

Стоял и плакал. Слышал: берёза листьями перебирает, успокаивает: «Погляди, сколько травы!»

Травы изобилие, но в её круговертях запущенность, бездомность, безобразность.

— Не ходят косы по муравушкам. В деревнях нынче даже кур не держат. Бабки в капитализм ударились, считают карандашиками на бумажках, и выходит: хлеб и зерно, потраченные на птицу, — в убыток.

Сверху, от берёзы, Владимир Фёдорович усмотрел на реке бочажок. В бочажке вода неубитая. Пока что. Но по берегам осклизлые коряги. Вдоль берегов гниющие водоросли, а на дне, должно быть, липкий омерзительный ил.

— В детстве был нам даден иной мир.

Положил на берёзу ладони и не почувство-

вал ответа. А ведь раньше отвечала. Он был свой для неё.

— Господи! Господи!

С людьми стряслось непоправимое, с русскими людьми. И оно, непоправимое, для природы язва смертоносная, подлейшая. Земля и те, кто жили землёю, — ипостась неделимая. Разве не сумасшествие — планетарное — умертвить деревню ради города. От природы отречься. Тело человека — земная жизнь, душа — птица небесная. Тело без души — машина из костей и мяса, душа без тела — ангел. Человек потому и венец творения, ибо соединяет в единое в себе землю и небо. Изгнание из жизни человека природы — сатанизм, поругание человека и Бога.

Сказал берёзе:

— Русские люди поверили в великую цель и были великими. Набирались ума и могущества — превратить пустыни, даже саму Сахару — в сад. Сад в Сахаре — это, должно быть, и есть возвращённый рай.

Губами коснулся бересты. Не отвечала. Дерево и дерево.

Повёл глазами по реке, по земле — ни к чему непригодны. Всё брошено. Русские люди оставили свою землю.

— На самом-то деле нас, русских, весь наш народ согнали со своей русской земли.

Сказал он это берёзе, отстранившись. Тоже ведь обиделся.

На реке — ряска, гниющая тряпина. Трава на берегу отталкивающая: ни лечь, ни сесть.

— Родина... Ёлки-моталки!

Поднялся на насыпь железной дороги — так прямей к дому — и обомлел: вся пойма белопенная — борщевик торжествовал на земле Московии.

Когда же всё это началось? С чего? Какое слово стало мертвящим?

И вдруг ясно подумал: дети среди этого не растут. Они здесь не бывают. Для них так называемая природа — весь земной шар. Дашка приносивалась к чему-то. Фыркнула, чихнула, заскулила.

— Прости меня! — погладил Дашку. — Пошли ельником, глядишь, белку встретим.

От берёзы были уже далеко, но Владимир Фёдорович вдруг побежал обратно: листик берёзовый в губы взять, как в детстве. Берёза, вот

она, а листья — в небесах. Огляделся. Тоший пенёчек, кто-то смахнул молоденькую берёзку очень острым топором. От корня побег, на побеге — листок. Единственный.

— Ты уж расти помаленьку!

Повернулся к пойме. Кубышки! В детстве очищал до сердцевины. Еда была сладкая, не больно вкусная, но с особым таинственным запахом. Кинулся к кубышкам. А шапки белые, огромные — борщевик. Опять борщевик. Ноги к земле приросли.

Говорят, эту пакость наш русский биолог вывел. Корм коровам. Но коровы, скорее всего, языки пожгли.

А теперешняя пакость, уж конечно, от американцев. Говорят, и бычка, страшного, с чёрной башкой, сожравшего всю рыбу в озёрах, в карьерах, в речушках, — они запустили!

— Господи! Какой только чушью мы не напичканы! — Дашке сказал, а Дашка даже ухом не повела: стало быть, так оно и есть на самом-то деле.

Русские разговоры

Дашка сама отворила калитку.

— Что-то вы быстро обернулись, — удивилась Наталья Ивановна.

— Белок нет, лаять не на что! — Про слёзы свои нечаянные, про ужас свой перед борщевиком промолчал.

Наталья Ивановна высаживала в грунт какие-то росточки, она их сначала дома выхаживала, в ящичках.

— Что-то небывалое?

— Небывалое, — согласилась Наталья Ивановна. — Расцветут — мы с тобой моложе станем.

— Я поливать буду!

— Воду им земля даст; разговаривать с ними надо. Любить.

Владимир Фёдорович дотронулся до плеча жены, как недавно до берёзы.

— Спасибо тебе! — и ступевал нежность деловым вопросом. — Натка, не помнишь, где у нас книги, которые отец Матвей подарил?

— Погляди в Наташиной комнате. Она брала почитать об иконе «Скоропослушнице».

Владимир Фёдорович пошёл было в дом, но вернулся.

— Натка, как ты думаешь, Хрущёв — дурак или всё-таки сволочь?

Наталья Ивановна распрямилась, отирала ладоней землю.

— Чего тебе Хрущёв дался?

— При Хрущёве гречу перестали сеять, медовые реки наши обмелели. А садов сколько этот зараза вырубил?

— Хрущёв пастухов ликвидировал. — Наталья Ивановна набирала-набирала воздуха в себя и вздохнула наконец: — Женщины освободились от ига коров. Сначала в городах не стало стад, потом и в сёлах.

— А кукуруза даже в Селятине росла. И великолепно! За Киевским шоссе, напротив «Дубравы» как раз. Ты же помнишь.

— Помню, за грибами через кукурузу ходили.

Владимир Фёдорович нежданно рассмеялся.

— Я представил себе книгу о дуростях правителей России. Прежних, исторических, советских разумеется, ну и теперешних... Ведь кто-нибудь напишет.

— Когда Сталин был теперешним, всякое его решение называлось «линия партии».

— Не согласен — на Колыму! — Владимир Фёдорович почесал в затылке. — Ты права, Натка! В России власть — Бог.

— Не знаю, как при Никитке, а при Горбачёве сажали.

— Сажали, — согласился Владимир Фёдорович. — За неуважение к президенту.

— Что это ты в политику вдавился?!

Наталья Ивановна смотрела непонимающе.

— Землю нашу разорили. Чего там разорили — убили...

— Моим цветам радуйся.

Владимир Фёдорович постоял, потрепал по загривку Дашку.

— Пойду ответ искать. Будет ли нам воскресенье.

И тут в калитку постучали.

— Хозяева дома?

Гришка Лобов — коммунист, секретарь, а также подручный хозяина Лжегидромонтажа. Странное явление, хотя дружили, делали одно дело.

— Милости просим! — пригласила нежданного и давно уже неприятного гостя Наталья Ивановна.

Лобов вошёл в калитку, широко улыбаясь, в правой руке — метровый жерех, в левой связка ершей.

— На Угре наловили. Я к вам.

Владимир Фёдорович смотрел на Гришку, переводил глаза на супругу.

— И жаркое, и уха царская, — молвила Наталья Ивановна.

— Трудовая, — уточнил коммунист. — Но среди ершей — три стерлядки.

— Григорий Петрович, сколь помню, трудящиеся массы по-царски жить собирались! — Наталья Ивановна иногда становилась ехидной, однако ж, выходит, приняла незваного.

— Пошли в дом, — пригласил Гришку Владимир Фёдорович.

— Э-э, голубчики! — остановила бывших друзей хозяйка. — Сначала рыбу придётся почистить.

— Согласны! — У Гришки Лобова настроение было превосходное, взялся вспарывать животы колючим ершам. Владимир Фёдорович чистил чешую жереха и стерлядок. Сидели на лавке, за столом на двух столбах.

— А помнишь? — сказал Гришка.

Им пришлось работать на Новой Земле, в Шевченко, это уже Туркмения, у Каддафи, а также на Байкале...

На Новой Земле Владимир Фёдорович от белых медведей Гришку спас.

Просмотрел коммунист, подпустил слишком близко двух медвежат. И медведица — вот она! Если бы кинулась... Но Владимир Фёдорович увидел всё это, выскочил из дома навстречу медвежатам с двумя банками гущённого молока. Одну кинул ближнему, вторую чуть поотставшему. Большой медвежонок, пестун, должно быть, банку раскусил — сладко, заурчал. Другой, младшенький, занялся своей добычей. Гришка — в дверь, и дверь — на засов. Потом смеялись — оставил спасителя на съеденье. Но грешить нечего, опомнился тотчас, выскочил, потащил друга в дом.

Медведица издала за детишками приглядывала. Медвежатам угощение понравилось. Не раз приходили сладенького выпросить.

В Туркмении, в Шевченко, Гришка учил уму-разуму новичка атомным премудростям. Уран в тех местах добывали открытым спосо-

бом. Владимир Фёдорович был в отчаянии: за что его радиацией казнят, а Лобов всё показал, всё разъяснил. Не руда страшна добытая, смертоносна обогащённая.

Хорошая была работа, государственная. Деньги платили такие — министры столько не получали.

— А помнишь? — для них как тайный марсонский знак. Посмотрели в глаза друг другу. Живо ли хоть что-то от прежних, когда были солью, славой и силой Отечества, всего русского под солнцем, или нынешнее существование отменило в пенсионерах всё великое. Вот именно — великое.

Дашку выгуливать — это, разумеется, позиция и даже оппозиция. А вот радеть за карманы хозяина, изображая из себя борца за прогресс — откровенная подлость.

— Ты видел, как его изуродовали? — спросил Владимир Фёдорович.

Лобов понимал, о ком это.

— По всем программам показали. Акуле на зубок попался.

— Какой акуле? — не понял Владимир Фёдорович.

— Акуле капитализма — США.

— А сам он чья акула?

— Его режим — порождение племенного бытия... Народ Каддафи был, как и он, в доле тех богатств, какие давала родная земля.

— Доля вождя, разумеется, ограничений не ведала.

Лобов по-хозяйски открыл дверцу старинного буфета. Он в былые времена наведывался к Владимиру Фёдоровичу. Делился тревожными сомнениями. Элита рабочего класса, член обкомов, райкомов, президиумов — Гришка многое видел и знал закулису. Мучился. Понимал: коммунистическая власть заражена вирусом перерожденческим.

Выводы из этого своего знания они делали несовместимо противоположные. Владимир Фёдорович обещал неминуемый феодализм и монархию, причём не прежнюю — святую, а новейшую — проститутскую. Лобов, коммунист упёртый, не сомневался в окончательной победе человека труда над торгашом.

— Какого труда?! — возмущался в конце восьмидесятых Владимир Фёдорович. — У нас

школа и комсомол озабочены организацией свободного времени. Страна растит из ребят белоручек, презирующих всех, кто с молотком, серпом и у станка.

Спорили они в те поры до ненависти друг к другу. И вот она — постсоветская действительность. Всё поперано: религия коммунизма и религия православия. Человек поперан и его тяга к творчеству. Само государство поперано. Вместо страны — синдикат расхитителей. Генералы воруют! Эфэсбешники! Совесть превращена в систему самонаказания.

Всё это забушевало в недрах души Владимира Фёдоровича, а Лобов уже достал бережённый редкостный коньяк и рюмки. Не спросясь. Как когда-то. Взгляд Владимира Фёдоровича был уж очень выразительный, и Гришка поднял обе ладони.

— По единой! За нас чокнуться не грех, но мы давай не чокайся, Кадафи помянем.

Разлили коньяк. Аромат такой, будто в пустыне после невероятного в этом краю дождя.

Выпили.

Лобов сел за стол, глядя перед собой.

— Вы все в предатели меня зачислили. А я — за строительство. Лес загажен до полного безобразия. Нами загажен. С благословения высшей власти, разумеется. Додумались на зарплате лесника экономить. У лесников зарплата во все времена была самая ничтожная. Но власти уничтожили именно лесное хозяйство, чтоб отдать на разграбление самое надёжное богатство русского народа — лес. А тут ещё короед подоспел...

— Всё, конечно, так, — Владимир Фёдорович собирал мысли для возражения.

— И так, и этак, и растак! — Гришка сверкал глазами. — Неужто беды не видишь? Мы же работать разучились. Все теперь охранники!

— Где ж вы были? — зло усмехнулся Владимир Фёдорович. — Депутатское большинство у вас сохранялось восемь лет. И за эти восемь лет Ельцин и его восприемники извели и рабочий ваш класс, и трудовое крестьянство, и прослойку. Интеллигенция, сколь помню, прослойкой именовалась.

— Мы спасли Россию от гражданской войны.

Лобов был лысый, безбровый, безусый, выскокий лоб в тончайших морщинах, а щёки мо-

лодые, гладкие, вот только верхняя губа — стариковская: морщины сверху вниз, рот щелью, губы усохли.

— Ах, спасатели вы наши! Что ни миллиардер — коммунист. Партсекретари, обкомовская мразь собственность государственную по-расхватала. Воры они и есть воры, а вот коммунисты — сволочи!

— Так уж и сволочи! — усмехнулся Лобов.

— Сволочи! — твёрдо повторил Владимир Фёдорович.

— Я почему за строительство. Это — настоящий труд. Труд профессионалов. Приобщение молодых к профессиональной работе.

— Семьдесят три гектара леса нынешняя техника смахнёт за три дня. Башен взгромоздить — три месяца! — Зубами скрипнул. — Кто поселится-то в этих домах? Азербайджан, Армения, цыгане! Не рабочий Азербайджан, не рабочая Армения — торгаши.

— А цыган чего приплёл?

— Цыгане о таборах давно забыли. Наркodelьцы.

— Так уж и все... Ну, коли я сволочь, давай за сволочь выпьем. Со сволочами ты у нас будущее строил.

Лобов взял бутылку, наклонил над рюмкой. Владимир Фёдорович бутылку отобрал, но поздновало.

Лобов отлил в его рюмку из своей.

— Прости, но ушицы я всё-таки похлебаю.

— Как пожелаешь! — Владимир Фёдорович убрал бутылку. — До лучших времён.

— А налитое за что хряпнем?

— За совесть.

У Гришки глаза слезой заволкло.

— Я, бессовестный, в реактор на сто тридцать шесть секунд пошёл. За совестливых!

Проглотил свою капельку.

Владимир Фёдорович тоже выпил.

Реактор для Кадафи строили. Всё безукоризненно — запустили. И тогда вдруг обнаружилось: пушка не проходит.

Посчитали, сколько допустимо хватануть... Наложили краску на пушку — определили место, где лишние микроны. Коммунист Лобов, член обкомов и президиумов, кандидат в кандидаты ЦК! — пошёл на позволенные сто сорок секунд.

Владимир Фёдорович выдернул Гришку на мгновение раньше из неосязаемого ада. Потому и за столом теперь.

Пушка снова не прошла, и Владимир Фёдорович тоже дозу схватил. Двадцать восемь секунд драил наждаком стену.

Уха у Натальи Ивановны получилась изумительная.

— А интересно, твой таймень всё ещё плавает? — вспомнил Владимир Фёдорович.

Это на Кане случилось. Григорий Петрович стоял на самом краю обрыва, удочку повело, он дёрнул — а рыбка большая-пребольшая. Удочку двумя руками ухватил, и тут его самого дёрнуло: с трёхметровой высоты в Кан ухнул.

Тайменя вытащили сообща. Это был такой красавец, такой старожил Кана — единогласно с крючка сняли и отпустили.

— А не водит ли нас Опытный Рыбарь Америка на крючке по прозвищу Украина? — задал вдруг вопросик коммунист Лобов.

— Нехорошо на белом свете! — сказала Наталья Ивановна. — Карты для всех одни — жизнь, но всяк играет собственную игру: в дурака, в Акулину, в «свои козыри»...

— Нет, милая, игра идёт высшего класса: преферанс, канаста, бридж...

— Боюсь, покер затеяли. А вот кто банк сорвёт? — Лобов вдруг затосковал. — Ленина бы!

— Убитые города, убитые люди, даже страны, как пепел с сигары Черчилля! — сказала Наталья Ивановна.

Владимир Фёдорович не поленился, поискал на полке и нашёл зелёную картонку с круглым окошком. В окошке — лицо Каддафи. Величавое, мужественное. «Великая зелёная декларация прав человека в эпоху масс. 1397. 1988».

Прочитал:

«Ливийский арабский народ, собравшийся на первичные народные конгрессы, вдохновляясь Первым заявлением Великой Революции 1 сентября 1969 года, которая окончательно закрепила торжество свободы на его земле, и руководствуясь содержанием исторической Декларации об установлении Народовластия от 2 марта 1977 года, открывшей новую эру, которая венчает борьбу человечества и укрепляет его упорное стремление к свободе и раскрепощению, руководствуясь

Зеленой Книгой, указавшей человечеству путь к окончательному освобождению от власти личности, класса, клана, племени, партии, во имя создания общества свободных людей, равно располагающими властью, богатством и оружием...»

Владимир Фёдорович положил три странички в корочках на стол.

— Зелёная Книга — путеводитель человечества...

Молчали. Не пили. Не ели.

— Каддафи дал своей Ливии сорок лет покойной жизни, — вздохнула Наталья Ивановна.

Владимир Фёдорович налил себе воды.

— Сказано: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладет любовь».

Лобов поднялся, поклонился хозяйке:

— Уха была хороша, жерех сладок... Но для чего-то я всё-таки лез в жерло смертоносное? Для чего? Для Каддафи, для ливийцев, ради Ленина и его пути?

Пошёл, вернулся, пожал руку Владимиру Фёдоровичу.

— Ради Ленина я туда шёл, ради Советской Страны, чтоб её ценили, любили.

И все снова помолчали. Многие любили Ленина, многие любили Страну Советов и особенно русских... Когда мы были СССР.

Симеон Столпник

В комнате дочери, Наташиной, — картина «Розы». Розы на шкатулке — резьба по кости мамонта. Его подарок.

На чайном сервизе «розы». Работа Петра Васильевича Леонова. Вот уж был человек живущий!

Розы на вышивках — это её и Наткины, покрывало — сплошь розы, белые, из белых ниток. Наташа — мастер по тортам, и, как это ни странно, на её тортах ни единой розочки, никогда.

«Месяцеслов» — оба тома — лежали на белом подоконнике.

Открыл верхний том. По месяцу — «Март». Преподобномученица Евдокия. Пробежал глазами первую строку: самарянка, Финикия Ливанская...

Взял другую книгу. «Сентябрь». Начало церковного новолетия.

Преподобный Симеон Столпник. 459 год. Родился в каппадокийском селении Сисан, в христианской семье Сусотиона и Марфы. С 13 лет стал пасти овец своего отца. К первому послушанию относился добросовестно и с любовью. А как могло быть иначе? Пасти овец — занятие мужское. А то, что не растерял, так свои. «Однажды, услышав в церкви Евангельские заповеди блаженств, был потрясён их глубиной. Не доверяя собственному незрелому суждению, он тут же обратился с расспросами к опытному старцу...» Христианин, а в тринадцать лет впервые услышал «блаженства». И, конечно, неправда, что отрок подступил к старику за истолкованием «блаженств». В тринадцать лет пора бы знать, что они такое. За незнание Евангелия отец и мать получили бы от священника внушение: кого растите?!

Владимир Фёдорович вдруг огорчился: что это со мной! Церковную книгу взялся критиковать.

Разве не замечательно: в тринадцать лет пастушок отправился за Божьей правдой. В монастырь — где она ещё! Слезами убедил монахов принять в число братии. В восемнадцать — пострижение. Начало подвига. Постился, молился, да с такой верой, с таким самоотвержением — монахи возроптали. Аскеза юноши посрамляла их размеренную молитвенную жизнь. Игумен потребовал умерить истовость или же расстаться с монастырём.

Симеон выбрал подвиг. Жил на дне высохшего колодца. Все обеты, данные сердцем Господу, исполнял радостно и без отступлений. Игумен вернул инока в обитель, но монастырская жизнь — это жизнь братии.

Чтобы никого не искушать, Симеон переехал жить в пещеру, недалеко от села Галанисса. Три года был пещерником. Здесь он решил весь Великий пост отдать молитве, не вкушая пищи и не принимая воды. Обет он выдержал и на следующий год разделил Четырнадцатую на две части. Первые двадцать дней молился стоя, остальные сидя, чтобы не растратить телесные силы. И тут Владимир Фёдорович понял: это у него самого силы иссякли. Нужно было взять в толк прочитанное.

В правдивости написанного не сомневался. Объяснить разумом, как это прожить сорок дней без воды, — не захотел. Было, значит, было. Сидел, прикрыв глаза веками.

...Голубоватая стена, белый, выскребанный ножом пол. Понял, что дремлет, что он в Переславле-Залесском. Сумерки. За окном серебряно. Он смотрит в пол, потому что половицы светятся. И голос бабушки — светится:

«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшися от злых, благодарственная восписуем Ти рабы Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовём Ти: радуйся, Невесто Неневестная».

Музыка речи такая — стук сердца тишает. Молитва — тайная тайна. При Симеоне такого не бывало, а вот он, советский мальчик, знал: за молитву могут посадить. В молитве есть сила страшная даже для большевиков. Они ведь во всём победители. У них Ленин, у них Сталин. Но молитву слышат Ангелы, Богородица, Бог. Если бы он знал самую святую молитву в Ленинграде, Дина была бы жива, и Сашка был бы жив, и Светка. И многие, кого они стоймя ставили в кузов трёхтонки.

Напривычные церковные слова бабушка объясняла. «Взбранной» — значит, сильный в брани, в бою. Очень храбрый. «Яко» — то же самое, что «как». «Восписуем» — воссылаем, возносим к небу.

Бабушка прочитала ему молитву три раза, и он запомнил слово в слово.

Дальше читать житие Симеона Столпника Владимир Фёдорович не стал. Не всё сразу. Коснулся руками скатерти с розами. Запечатлённое девичество Наташи.

Что-то в груди защемило, затосковало.

— Господи! Какая прожитая жизнь! Господи, это и есть Россия. Это же Россия в его сердце, в его жилах перетерпела всё, что ему послано было.

— Володя, чайку попьём? — окликнула супруга.

Он пошёл к столу.

— А когда тебе к протезисту? — спросила Наталья Ивановна.

Он как раз отодвинул стул, чтобы сесть, но теперь замер.

— Назначено. А вот на какое число? Натка, можно у них как-то узнать? Совершенно забыл.

- Записывать надо.
- Записал. Но на чём?
- Засмеялась.
- Невелика проблема. С утра съездим. Спросишь.

Дубрава

Вторая примерка получилась такая же скорая, как и первая. Коронка вышла у техника узковатой. На доводку, на напыление золота — неделя.

— Я от двери не успела отойти, а ты уже дома! — поразовалась Наталья Ивановна и показала на Дашку. — Она-то впрямь от двери не отошла, знала, что обернёшься в считанные минуты.

Владимир Фёдорович приласкал свою лайку.

— Ну, серебряная, пошли на «Дубраву» глянем. Новый хозяин, говорят, ремонт сделал.

О «Дубраве» доложил Савельев, перекинулись парой слов, когда на примерку торопился.

Дашка вела к «Тропе здоровья» с оглядкой. И верно, Владимир Фёдорович потянул её туда, где грохотали машины. Заупрямилась, но поводок требовал. Смирилась.

«Дубрава» — последнее серьёзное детище нашего строителя. Начинать объект как пустычок. После плотин через неукротимые реки, после секретных сооружений под водой, под землёй — придорожный ресторанчик. Два этажа. Но только взялись за дело, приехал первый секретарь обкома. Это столичной-то области!

И — первое указание. Белый камень заменить деревом. Стали завозить дуб, примчался второй секретарь. Вместо дуба объект следует возвести из лиственницы, обработанной специальными растворами. На декор, на внутреннюю отделку приказано использовать редкие породы африканских, индийских и американских деревьев.

Селятино — место для граничных посольств лакомое. В посёлок ходу нет, хотя посёлок он и посёлок, разве что с «Тропой здоровья», с бассейном, со стадионом, где весь грунт привозной, международные матчи можно устраивать. И вообще, 49-й километр от Москвы.

Возможно, чья-то дача в этой стороне или нечто государственного назначения, но стройка шла под неусыпным контролем вто-

рого секретаря. Мог появиться в любой день и час. Редкостные для страны материалы строительства выбраковывались беспощадно. Замена следовала достоинств сказочных.

От посёлка ресторан отделяла дубрава. Фасадом на шоссе, в сотне метров, справа нешумная дорога в Селятино, отгороженная опять-таки дубами, слева роща невероятно высоких берёз и елей. Вершинами деревьев в облаках, а сам лес — заповедник чёрного груздя.

В первый день жизни в Селятине, именно в дубраве, Владимир Фёдорович собрал двенадцать белых. На счастье грибы дались ему. Позже попадались. По два, по три. А с того времени, когда Советский Союз испарился за один день, — ни единого.

Подумал этак — Дашка гавкнула.

— У нас с тобой наше государство украли, — вслух сказал.

Дашка остановилась, зарычала. И как раз к «Дубраве» вышли. Фальшивая черепица крыши, вместо изумительно простого, истинно сказочного фасада — нечто стеклянное, стекло окаймляет белый блестящий металл: современно. И вот они, официанты, чернявые, рослые, белолицые. Скорее всего — родня хозяина. Может быть, даже дети. Хозяин — азербайджанец.

Владимир Фёдорович натянул поводок, прошёл мимо былой своей сказки. Пройти ещё раз сквозь строй официантов — днём у них ни одного посетителя — не хотелось. Спустился по тропе к лесу, обрезаемому бетонкой разьезда.

Двинули напрямки, по зарослям орешника.

Продрались — боже ты мой.

Поваленные ветрами деревья собраны в квадраты. Каждый квадрат — свалка бутылок, пластиковых тарелочек, стаканчиков, вилок, ложек, салфеток всех цветов.

Безумная ресторация. Гадюшник новорусской жрачки.

— Дашка, может, мы с тобой в параллельный мир угодили?

Лайка сделала стойку.

— Ты это чувствуешь? Дашка, ведь нам с тобой жизнь подменили. А жизнь-то была выстраданная. Без дураков.

И сам сделал стойку.

— А народ? Выходит, и народ подменный,

подметный? Тогда почему ты и я, Наталья Ивановна, Савельев, наш водолаз, его внучка Лизонька — прежние? И Татьяна, вполне современный человек, но такая же, как все мы?

Домой пожаловали удручённые. А Наталья Ивановна телеграмму в руках держит.

— Федя Осколков зовёт отвезти нового медку. Стояли с Дашкой на пороге.

— Нынче вторник, коронку Василь Василич поставил обещал в понедельник. На дорогу двое суток, на мёд — трое.

— А Дашку оставим кому?

— Втроём поедем.

Бронзовые мальчики

— Да посмотри же ты вокруг! Будто срок отбыл и — дома. У себя. — Владимир Фёдорович гладил вставшую на него лапами Дашку.

Наталья Ивановна не очень-то понимала, что здесь домашнего.

— Городок зелёный, ухоженный, старые дома сохранились...

— Ты под ноги себе посмотри!

Через зелёный ковёр гусиных лапок — белая, без изъяна стрела дороги. Дорога упирается в мост через реку.

— Дашка-то разглядела. Обнять готова. Мы же с тобой в СССР.

У Натальи Ивановны веко дёрнулось.

— Володя, ты уж прости меня...

— Под ноги, говорю, гляди! Половину города прошли, а ты хоть единый окурочек видела? Обёртку от конфеты?

Наталья Ивановна засмеялась, тихонечко, очень счастливая.

— Напугал ты меня! — поцеловала ненаглядного в височек. — А ведь и впрямь, как в Селятине при Кузнецове.

— При Берии.

— Зачем тебе этот Берия? Кузнецов каждый вечер обходил Селятино. Всё, что было не так, искоренялось на следующий день. Наше Селятино при Кузнецове отметило тридцать лет, а было уж такое ухоженное, будто вчера родилось.

— Вот и здесь люди живут, уважающие самих

себя, — показал на аллею могучих лип. — Не устала? Тогда пошли поглядим, куда ведёт.

Аллея вела к памятнику. Облицованный гранитом пьедестал. На пьедестале пятеро бронзовых мальчиков. Трое — старшекласники, подросточек в пионерском галстуке и совсем мальчишечка.

— Этому в пионеры было рано, а сражаться за Родину в самый раз, — Владимир Фёдорович положил ладони на гранит. — Тёплый!

Сели на скамейку.

— Осколков рассказывал про своих героев. Мальчишки надули немцев: прикинулись послушными. Кабины и стёкла от пыли чистили, здесь стояла целая колонна грузовиков. Но у ребят была взрывчатка. Приручили немцев, в каждую кабину по заряду и рванули.

Наталья Ивановна перекрестилась.

— Одиноко мальчишкам сегодня.

— Здесь все знают о ребятах. Они совесть Кречетова. В советское время пионеры давали клятву перед памятником. А теперь первокласники первого сентября цветы сюда приносят. Самый младший на памятнике — родной Феде Осколкову.

— Уж очень военная фамилия у твоего друга.

— Федя говорил, что у них в роду офицеры и монахи. Нам пора. Федя на мосту назначил свидание.

Река была уж такая своя и так обрадовалась Владимиру Фёдоровичу да Наталье Ивановне, будто ждала их и дождалась.

С обеих сторон под мостом цветники кувшинок. Запах золотистый.

— Ты заметила? — радовался Владимир Фёдорович. — Асфальт метров за двести от моста закончился, я думал, конец дороге, но смотри, и за мостом то же самое. Асфальт до моста не дотягивает.

— И что это значит?

— Дают реке дышать. Деревня вроде бы, живут на земле, а землю всё равно берегут.

Возле кустов над рекой сидели два мальчика с удочками.

— На другой берег посмотри, — показала Наталья Ивановна.

На другом берегу с удочкой девочка. Рукой вдруг взмахнула, вода, сопротивляясь, вспенилась — и вот она, рыбка.

— Большая! — удивился Владимир Фёдорович. Девочка снимала с крючка улов, а мальчики, повывергав из воды лески, принялись менять червей. У них не клевало.

Показался автомобиль. Федя Осколков отворил обе дверцы, не покидая водительского места.

— Не будем терять времени, хочу вам показать самые знаменитые наши достопримечательности.

Наталья Ивановна с Дашкой сели на задние кресла.

— Как твои медовые дела? — спросил Владимир Фёдорович.

— Слава богу! С мёдом. Лето в этом году летнее. Пчеле — благодать.

— А может, наоборот? — сказала Наталья Ивановна. — Пчёлкам самая работа.

— Ещё какая! Но разве человек не радуется, если у него много работы? — Осколков поправил зеркальце, чтобы видеть лицо Натальи Ивановны.

— Если работа требует ума и сердца. А если бесконечная и бессмысленная — человек гаснет.

Машина пошухукалась с белым гравием — и птицей по асфальту.

— Я не знаю, понимают ли пчёлы сладость мёда, но они дорожат ароматом. — Осколков повернулся, глаза весёлые. — Давно это замечаю: пчёлы строят своё благоуханное небо. Дорожат именно простором запаха пасеки.

— От тебя тоже мёдом пахнет, — сказал Владимир Фёдорович. — Ты тоже частица пчелиного неба.

— Так оно и есть! — согласился Федя Осколков, прибавляя скорости.

Можно ли жить не воруя?..

Ехали через просторное поле пшеницы. За полем — лес вязов, за лесом — село.

Подъехали к зданию с колоннами.

— Бывший Дворец культуры? — догадался Владимир Фёдорович.

— Почему бывший? Отремонтированный — это да, вполне действующий.

На первом этаже читальный зал библиотеки. Светло, книги на стеллажах, и словно бы вместо стен.

Читателей у светлицей библиотекарши двое. Седоусый запорожец, перед которым стопа старых газет, и мальчик, глянувший на вошедших зоркими глазами. Мальчик — кудрявая голова, сидел, подложив ногу под себя. Книжка перед ним небольшая и явно не детская.

— Вероника, это мои гости! — представил Осколков. — Московия.

Наталья Ивановна подошла к читающему мальчику.

— Можно посмотреть твою книгу?

Мальчик заложил страницу пальцем, показал обложку.

— Мифы Древней Греции. Кун.

— Тебе много осталось?

— Тридцать семь страниц, — сказал мальчик.

Библиотекарь смотрела тревожно. Наталья Ивановна отошла от читателя. И тут в зал две девочки внесли тяжёлую сумку.

— Готово дело! — сказала старшая и принялась выкладывать на стол книги.

— Прочитали?

— И Настя прочитала, и я прочитала. А «Детство Никиты» мы сначала прочитали каждая про себя, а потом ещё раз — вслух, по очереди, по страничке.

Гости попрощались, чтоб не мешать работе.

Осколков показал зрительный зал с голубыми креслами. Спортивный зал с тренажёрами, кружок художников с выставкой рисунков, кружок рукодельниц с выставкой вышивок и вязанья. Мастерскую горшечников.

— Всё работает.

Проводить гостей вышла библиотекарь Вероника.

— Я очень вам благодарна, — пожала руку Наталье Ивановне.

— За то, что не спросила, сколько лет вашему читателю?

— Он этого ужасно не любит. Ему пятый год, и все задают один и тот же вопрос. Посмотрел какую-то телепередачу о Греции и так достал домашних вопросами, что мама привела своего Ромочку к нам.

— С какого же возраста он читает?

— Это первая его книга.

— Азбука удивительная, — засмеялась Наталья Ивановна. — Такого мальчика растить не просто.

— Да нет. Он человек весёлый! — улыбнулась Вероника. — Любит пшённую кашу и лягушек.

— Потому что среди лягушек случаются царевны?

— Сказку он прочитал, отдыхая от своих греков.

Ехали, призадумавшись.

— Что только не вытворяют нынешние педагоги с детьми! — высказался Владимир Фёдорович. — А мы всё равно — русские. Какой мальчик растёт!

Осколков свернул с дороги в берёзовую рощу.

— Немножко перекусим у наших Березаев, потом — в Круглый дом.

Крестьянская изба на ресторан уж никак не походила. Внутри широкая горница, длинный стол, плетёные креслица вместо лавок.

— Фёдор Максимыч! — обрадовались гостям Березаи.

Мать, дочь, сын с женой показали свой теремок, повели на террасу.

Наталья Ивановна собиралась выпить чаю, но Владимира Фёдоровича соблазнил запах борща. Вторая дочь хозяйки пронесла фарфоровую супницу во вторую половину дома.

— Коли борщ, так и пампушки! — подсказала хозяйка.

— Тогда уж и пельмешки на второе и вареники на сладкое! — закончил заказ Осколков.

— А медку? — спросила хозяйка.

— Моим гостям бесприменно, а мне взварцу на черёмухе.

Борщ как пламень — ешь и не тяжелеешь.

— Никаких заморских фокусов, но вкусно, красиво! — Владимир Фёдорович был доволен.

— Пельмени заказали напрасно, — засомневалась Наталья Ивановна.

— Ничего лишнего не будет, — пообещал Фёдор Максимович.

Он спозаранок наработался на пасеке и теперь отдыхал.

Терраса на берёзы смотрит. Берёзы белые, белизна шёлковая, зелень тоже какая-то очень зелёная, молодая. Владимир Фёдорович улыбнулся старому товарищу.

— Спасибо. Хорошее место для жизни, Федя, а вот скажи мне... Фамилия у тебя русская, а всё же непривычная. И, по-моему, не здешняя. В вашем краю у многих украинские корни.

С ответом пришлось повременить: сёстры Березаи принесли на подносах пельмени.

— Отведайте!

Наталья Ивановна отведала.

— Владимир Фёдорович! Мы с тобой мимо СССР на самую святую Русь попали. Такое тут всё настоящее.

— Признайся, Наталья Ивановна! Ты нас любишь как раз за то, что мы настоящие. Вот такие. Советские, русские. Наша жизнь и твоя едины, нераздельны. А гордость за всё прожитое — без греха, совесть — без ржавчины. Работали, о деньгах не думая. Верили: наш труд на пользу людям всей земли. А оно так и есть. Нашими трудами по нынешний день Россия жива... И с церковной стороны. Вроде бы забубенные безбожники, но люди-то мы творящие, выходит, божьи. Бог — творец. По чистоте своей, по совестливости не углядели обмана, не услышали сатанинского хихиканья... А взвар тоже чудо стряпанья!

— Погляди, Федя, как Дашка тебя слушает! — показал Владимир Фёдорович. У Дашки был свой лоток, и косточка была, но, верно, уши наострила, больно горячо говорил Федя. — Коли взварок допил, об Осколковых расскажи.

— Мёду отведайте, Наталья Ивановна! — разговоры разговаривал, а был зорок.

Наталья Ивановна пригубила золотистый напиток.

— Будто в детство окунулась, но ведь это хмельное!

Осколкову понравилась похвала.

— Такой мёд, правда, столетних настоев, пивал Владимир Красно Солнышко с Ильёй Муромцем. А вот об Осколковых надо бы побольше мне знать... Помнишь, в заливе как раз святого Владимира дело наше делали.

— Замечательная командировка! — согласился Владимир Фёдорович. — Я с вершины одной сопки в один и тот же миг видел оленя, двух чёрных мишек с белыми ошейниками, а с кедра на меня смотрела скорее всего ласка.

— А я там удивлялась местным жителям — вместо картошки репу сажали, — вспомнила Наталья Ивановна.

— Не край света, а начало всему великому, — Фёдор Максимович глянул на поданный Березаи счёт. — Я ведь тогда в Уссурийске встре-

тил Осколковых. Оказалось, один из прадедушек был артиллеристом, а потом постригся в монахи, стал игуменом монастыря. Превратил монастырь в процветающее хозяйство. Между прочим, китайцы и до революции нанимались на работу. Строили игумену Иллариону братские корпуса... Перед самым отъездом в Арсеньеве мне ещё раз повезло: поговорил с одним рыбаком из Осколковых. Рыбак этот бывал на Аляске. Там есть городок Николаевск, и в том городке живут русские люди, старообрядцы. Старообрядцы, узнавши фамилию рыбака, свозили его в оставленный посёлок — на кладбище. На этом кладбище американскими буквами на крестах всего одна фамилия: Осколковы. Рыбак запомнил иные имена: инокиня Евфимия, матушка Киликия, Прокл, Миней, Акила. — Фёдор Максимович улыбнулся, но грустно. — Так что мои прыткие родичи даже Аляску освоили.

Владимир Фёдорович быстро взял кожаную папку со счётом. Изумился:

— Наталья Ивановна! Еда и питьё самые натуральные, но и цена вполне человеческая.

— Так вот и живём! — сказал Осколков.

Уже в машине Владимир Фёдорович снова удивился.

— Что у нас за страна такая! В одной аптеке за «Крестор» берут чуть ли не две тысячи за двадцать восемь таблеток, а в другой — девятьсот рублей. Тоже, конечно, но всё-таки...

Наталье Ивановне горько вздохнулось:

— Таких Березаев нам и не доставало в СССР! Осколков ладошью хватил по гудку.

— Какой страной были! А какой были бы...

— Знаете, что в Березах самое удивительное? — спросил Владимир Фёдорович и ответил сам себе. — Не воруют. Бизнесмены, а не воруют.

Лысая гора

Осовевшие после обеда, прикатили в ухоженное селение. Каменное круглое чудо-вище надвигалось на них неотвратно, и Осколков выключил мотор.

— Круглый дом.

Вышли из машины. Странная громада побелена совсем недавно. Два этажа с пупком ба-

шенки, но куда значительней дурацких небо-скрёбов Лужкова.

— Древность, — сказал Владимир Фёдорович.

— 1812 год. Мы на хотмыжской земле, в знаменитом Головчине. А что это такое, неизвестно.

Мощь и замкнутость здания озадачивали. На видимой стороне просторного пространства — три прямоугольных проёма, а между проёмами — ниши, может быть, для статуй. По второму приземистому этажу всего три квадратных окна. Башенка сверху приземистая, никакая.

Владимир Фёдорович вздрогнул... Был всего лишь промельк... Запах немецких солдат... Строй, но не тех, которые орали в Лигове, когда кочерыжки собирали, — обветшалых, пленных. И офицер, дерущий от гордыни морду.

Услышал голос Натки.

— Это тоже теперь ДК?

Осколков ответил с удовольствием.

— Театр... Дом начали строить до войны с Наполеоном. Затраты получились большие, и хозяин имения, губернатор Новой Сербии, весьма прохладно исполнял повеление императора Александра о формировании народного ополчения.

Владимир Фёдорович хотел дотронуться до стены, но не дотронулся.

— Идёмте внутрь, рассказы надо рассказывать с начала, — Осколков отворил дверь перед Натальей Ивановной.

В подвальной части Круглого дома — ресторан, кафе.

Первый этаж отдан театру. Кресла по кругу, вдоль стены. Сцена просматривается с трёх сторон.

Сели в кресла.

— Головчино основал граф Гаврила Иванович Головнин, — Осколков показал на портрет графа. — Головнин был при Петре Великом с детства. Его постельничий, родственник матери Петра — Натальи Кирилловны. Перед Полтавой стал канцлером и в том же году, 1709-м, купил многие тысячи десятин пустующей земли в Хотмыжском, Карповском и Болховском уездах. На этих огромных землях граф имел всего семьдесят дворов крестьян. Победа над Мазепой и Карлом XII обогатила Головнина: переселил на свои земли черкас с разорённой войной Украины.

— А Сербия-то при чём? — не понимал Владимир Фёдорович.

— И до Сербии дойдём! — улыбнулся Осколков. — Потеряли Головнины все эти свои умения в 1741 году. Гаврила Иванович был среди первых людей империи — член Верховного Тайного Совета. После смерти Петра Второго вместе с сыном они посадили на престол Анну Иоанновну, опять первые, но в 1734-м Гаврилы Ивановича не стало, однако сынок Михаил Гаврилович был сенатором. В правление Анны Леопольдовны и несчастного Ивана Антоновича, в шесть месяцев от роду севшего в тюрьму на всю свою жизнь, Головнин-младший был уже вице-канцлером. И не сориентировался во время переворота, не поддержал Елизавету Петровну, а посему в 1741 году, лишённый чинов и всякого имущества, отправился доживать век в Якутск, — Осколков поднялся. — Пойдёмте на второй этаж. Там картинная галерея.

— Ты про театр собирался рассказать! — напомнила Наталья Ивановна.

— Сначала о Новой Сербии, чтоб вас не запутывать... Головчино после 41-го года отошло государству, но в 1755-м Елизавета Петровна пожаловала имение генерал-майору Хорвату. Хорват перешёл из австрийского подданства в русское и получил в управление Новую Сербию. Губерния занимала часть нашего края и теперешнюю Кировоградскую область... А Сербия?

Они уже стояли перед картинами.

— Работы белгородских художников. То, что они подарили Круглому дому... Ну а Хорват, любимец Елизаветы, попал в немилость при Екатерине.

— Скорее всего, проворовался, — сказал Владимир Фёдорович.

— Тебя бы надо к Путину — коррупцию искоренять! — засмеялся Осколков. — Точно! При Екатерине Хорват за многие злоупотребления был лишён всех чинов, но имение Головчино к тому времени принадлежало его наследникам... А теперь о театре. Театр у нас исторический! Основан в 1827 году, между прочим, внуками Гаврилы Головнина. Труппу набрали из крепостных, и слава наша гремела во всех южных губерниях России.

Круг по галерее был завершён.

— Как вам картины? — спросил Осколков.

— Красиво, реалистично! — похвалила художников Наталья Ивановна.

— Пишут белгородцы намеренно размашисто, даже умышленно корявенько — блюдут оригинальность, но, согласен, люди наши — реалисты.

— Фамилии у всех русские, украинские, — сказала Наталья Ивановна.

— Потому и реализм. Где модерн — там еврей, — Осколков показал на небольшой холст, в простенке у лестницы, винтом уходящей на башню. — Красный бык на зелёной корове. Шарада? А на фамилию поглядите.

— Левитан — самый душевный певец русской земли! — строго возразила Наталья Ивановна. — Лучше Серова царя Николая никто не написал.

Осколков всё-таки возразил.

— Мика Морозов, Ермолова, Шаляпин, девочка с персиками! Но ведь также Ида Рубинштейн. Угольком начертано.

Владимир Фёдорович замахал руками.

— Бой останавливаю!.. Ты, Федя, чудо-то нам покажи.

— Чудо нужно почувствовать. Вас башня ждёт. Между прочим, когда подниметесь на самый верх, загадайте что-либо хорошее — сбывается.

— А ты разве не с нами?

— Там надо одному побыть. Я бывал.

— Загадывал?

— Загадывал.

Владимир Фёдорович усмехнулся.

— Вижу — не сбывалось.

Винтовая лестница привела на круглую площадку. Через окно видна одна половина парка, через другое — другая. Аллеи делят парк на сегменты.

На стенах — знаки: циркуль, пирамидка, в пирамидке глаз, ещё что-то. Масоны.

— Господи! Не у этих умников прошу — у Тебя: пошли во власть России людей, любящих русское на русской земле.

И вдруг подумал: немцы здесь были, и никаких разрушений. И будто окунуло... «туда». Строй солдат в мышинового цвета мундирах. И к этому строю идёт с перевязанной грудью командир, разведчик, герой.

Владимир Фёдорович обеими ладонями отёр лицо. Башня, на стене — циркуль, пирамида, в пирамиде — глаз... Веером у ног винтовая лестница. Наступил на первую ступеньку, шагнул на вторую, на третью... Теперь он был «здесь». Дрожая рукой перехватывая перила, сошёл вниз.

— Аллеи видел? — спросил Осколков.

Владимир Фёдорович хотел поскорее взять в рот таблетку, только от чего?

Осколков ждал.

— Аллею видел, — сказал Владимир Фёдорович.

— Вокруг Круглого дома девять сегментов. На сегменты парк делят аллеи. Между рядами аллеи — сады, имеющие мистическую задачу. В каждом саду деревья особых пород. Каких, теперь никто не знает. Всё это собирало и концентрировало силу.

Осколков смотрел на Наталью Ивановну.

— Я не пойду... Не хочу. Нас Дашка заждалась. Пошла к выходу.

Владимир Фёдорович был позади всех, чтоб не выказать слабости в ногах. Подгибались в коленях.

— Масоны — люди прогресса, — сказал Осколков. — Но все их знания — тайна для жителей земли. Существа надмирные.

— Масоны — враги власти в России, какой бы эта власть ни была, — сказала Наталья Ивановна. — Прикидываются любящими Бога, а на печати у них козёл со звездой над рогами.

Вышли к свету. Отвязали скулившую Дашку: лихо было лайке одной.

— Поехали? — спросил Осколков.

— Поехали! Поехали! — поспешно согласился Владимир Фёдорович.

Уже в машине, лаская Дашку, Наталья Ивановна сказала:

— Мы с Владимиром Фёдоровичем в Исторический музей недавно ходили. Лужков десять лет держал под замком русскую историю.

— И что в истории нового? — усмехнулся Осколков.

— Не было битвы на Чудском озере, не было Куликовского поля.

— Знаешь, чем история у нынешних властей заканчивается? — спросил Владимир Фёдорович. — В последнем зале, у выхода меню обеда в день коронации Николая Второго. Ни революции, ни Советского Союза.

— Отечественной войны не было?!

— Не было, — подтвердила Наталья Ивановна. Машина катила между двумя полями, с одной стороны дороги — пшеница, с другой — длинноусый ячмень.

— Ваш Круглый дом — памятник для России очень даже знаменательный, — сказала Наталья Ивановна. — Мистику берегут как память о лучшем в делах человеческих. В музее, в Историческом, о декабристах — умолчание, но выставлены масонские ордена Пестеля. Пестель — ярый противник самодержавия, но его государство — это надзор за повседневной жизнью человека и надзор над душой. Очень похоже на НКВД.

— Я думаю, какая-то здравая мысль всё-таки имела место, когда строили Круглый дом, — сказал Осколков. — Удивительный парк с необыкновенными садами, удивительное сооружение.

— А может, это не памятник, — рассердилась Наталья Ивановна. — Может, это действующий храм? Володя, ты-то чего молчишь?

— Я знаю, что есть масоны, но что это такое?

— Игра образованных шалопаев, возомнивших себя совладельцами Божьего мира! — засмеялся Осколков.

— А убийства за отступничество? — спросила Наталья Ивановна.

— Игра серьёзная. В них адреналин прямо-таки кипит!

— Всё это мерзость, — сказал Владимир Фёдорович. — И всё это очень даже серьёзно. Очень и очень серьёзно, ребята. Мне под большим секретом однажды открыли тайну дуэли Пушкина. Застрелил нашего поэта не Дантес. Это Данзас, секундант Александра Сергеевича, одноклассник по лицу, выстрелил своему другу в пах. Пушкина казнили масоны. Якобы за измену.

Осколков долго молчал.

— Пожалуй, это уже чересчур.

— Я потому и рассказал... На выдумку похоже, на сенсацию.

Наталья Ивановна снова рассердилась.

— Советская власть религии уничтожала, но и все колдуны при ней исчезли. Скажи мне, Федя, почему на наши головы свалились сегодня шаманы, колдуны в седьмом поколении, ясновидящие, гадалки, ворожеи, маги таро? Что творится в мире?

Осколков пожал плечами.

— Европа осатанела, и на нас оторопь напускают... Хотите svoju в одно таинственное местечко... Они, видите ли, ни во что чудесное не верят! Похлеще Круглого дома.

— Что же это такое, если похлеще? — удивилась Наталья Ивановна.

— Нашу Лысую гору покажу.

— Лысая гора... Что-то в голове крутится, а не вспомню, — признался Владимир Фёдорович.

— На Лысую гору под первое мая ведьмы на мётлах слетаются, — сказала Наталья Ивановна. — Да только Лысая гора в Киеве, на берегу реки Лыбедь. При князе Владимире — место языческого капища, но монахи Киево-Печерского монастыря нечисть разогнали, и там у них была пасека.

Осколков библикнул.

— Bravo! Но наши люди убеждены: настоящая Лысая гора на хотмыжской земле. Колдовское место у нас сильнее и киевской Лысой горы, и германского Броккена. Дело в том, что при царе Алексее Михайловиче в нашем краю была ссылка. Сжигать на кострах людей не хотели, спроваживали в Дикое поле. Наша земля — это ведь и есть Дикое поле. Вот колдуны, собранные в одном остроге, и скопили свою силу.

— Выходит, у вас тут сплошь джуны и чумаки? — Владимир Фёдорович повернулся к Наталье Ивановне. — Как их, этих-то?

— О ком ты?

— Ну, об этих! Дашка, напхни!

Дашка тотчас гавкнула.

— Экстрасенсы, — сказал Осколков и остановил машину.

Под деревьями стояли удобные скамьи.

— Соснами подышим. Вы смеётесь, а я на Лысой горе побывал... Не где-нибудь — в «Известиях» поместили о наших небывалостях. Знаменитая в прошлом газета. Правительственная.

— И что писали? — спросила Наталья Ивановна, отпуская с поводка Дашку.

— Не убежит?

— Она у нас лайка, — обиделся Владимир Фёдорович. — А на Лысой-то горе что у тебя было? Колдунью с волосами до пят встретил?

— Я сначала вам расскажу историю, какая в газете была. Этот самый журналист из «Извес-

тий» на ночь глядя забрался на вершину и стал ждать неведомо чего. С горы виды красивые, но темнеет. Вот уже и ночь, а происшествий ноль. Хотел уже к дороге спуститься, к машине, вдруг женский голос: «Берегись встречной!» Тут наш герой с горы скатился, в машину. А на дороге — никого, жилья поблизости нет. Черно! И опять голос: «Берегись встречной!» Тут как раз огонь дальний, одинокий. Должно быть, мотоциклист. Страх обуял газетчика. Поставил джип у самого края кювета, затаился, и тут мимо — КраЗ. Огромный, тяжело груженный, а фара с одной стороны, справа. Принял бы за мотоциклиста — врезался бы. Вот такая история.

— Главное — исход хороший! — порадовалась Наталья Ивановна. — А с тобой что приключилось на вашей Лысой?

— Да никакая она не лысая. Правда, на самой-то вершине хвощи растут, ниже — кустарник, а у подошвы — ожерельем заросли кипрея. Тепло было, куртку подстелил, сижу, вечереет, земля потемнела, а в небе облака даже очень белые. И — голос. Женский, добрый: «Поезжай! Поезжай! Тебя дома ждут!»

Я без страха сошёл с горы, доехал до дома, а входить всё-таки... не по себе. Обошёл дом — всё нормально, цветы под окнами не помяты. Дверь открываю: «Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!» Я чуть было в бега не ударился, но вспомнил: за печкой наседка на яйцах. Я её посадил на лебединые. Шесть лебедей высидела. Они теперь в парке нашем на прудах живут.

— Не очень страшная история, — сказал Владимир Фёдорович.

— И не очень-то колдовская, — решила Наталья Ивановна.

— Но голос-то всё-таки был. Невелико чудо, да разве не чудо?

Владимир Фёдорович сказал сухо, устало:

— Федя, поехали домой, не хочу я Лысой горы.

— Спросим Наталью Ивановну.

— Я тоже не хочу колдовства.

Поехали в Кречетов на городские пруды лебедей смотреть.

Оставили машину на стоянке, прошли парком к воде. Осколков повёл гостей на старицу. Вышли на берег и замерли. Мимо плыл огромный белоснежный лебедь, за ним — че-

тыре серых. Потом опять белый лебедь и снова четверо серых. И ещё белый и серые, белый и серые.

— Никогда не видел серых лебедей! — удивился Владимир Фёдорович.

— Это лебедята! — порадовался птицам Осколков. — Из шести моих осталось пятеро. Пятый одинокий. Его белую лебедь убили где-то на перелёте.

Смотрели на лебедей, будто сон.

— Лебеди — это очень красиво, — вздохнул Владимир Фёдорович. — Вернёмся домой как из страны, где живёт счастье. У вас тут разумная жизнь. Созидательная, это в наше-то время, при наших властях, отгородившихся от светлого будущего человечества.

— Чем? — спросил Осколков.

— Колбасой, в которой нет мяса.

День мёда

Добрались до дома, расставаться даже для сна не хотелось, но радость забирает силы тихой сапой. Не стали ужинать, легли, а проснулись — День мёда.

Этот день Фёдор Максимович установил для себя и своего народа. Народ явился ровно в одиннадцать.

Несколько лет тому назад пчеловод пригласил на новый мёд среднюю группу детского сада — семь мальчиков, восемь девочек. На другой год воспитательница напомнила:

— Дети ждут медовый праздник. Мы прочитали четыре книжки о пчёлах.

Ребятишки пришли повзрослевшие, принесли стопу картинок с портретами пчёл и пасечника. Так появился для Осколкова особый день в году, самый жданный.

Теперь его народ — третьеклассники. В третий осень пойдут, к тому же все они не только школьники, но стражи медовых рек. Пятилеточками запретили родителям срывать цветы в лесу, на лугу... В цветах жизнь пчёл. Желаете букетов, ступайте в магазин, там цветы парниковые и даже голландские — в общем, не живые.

Все пятнадцать стражей и московские гости сели за стол в саду, под навесом.

Вкушали от сотов из ульев, поставленных в разных местах земли хотмыжской. Для ребят это был конкурс распознавания мёдов: липовый, гречишный легко опознать: он тёмный, мёд майского разнотравья, мёд поймы Ворсклы, самый ранний мёд, с цветущих ив. И к изумлению селятинцев — мёд с Лысой горы. А также мёд белой акации, с цветущей горчицы, с рапса, мёд луговой — с клевера.

Первое место заняла девочка! Личико мечтательное, овал украинки, имя Ганночка.

Последнее место осталось за мудрёным на вид Велемиром. Ганночка ошиблась всего дважды, а Велемир дал четыре правильных ответа. На головку Ганны возложили корону королевы Пчелиного царства — корона давалась на год, награждали бочонком мёда.

За чаепитием пошли разговоры. Мальчик с удивительно белой головой, прямо-таки серебро, с редким именем Анкудин вдруг отчаянно сверкнул глазами:

— А всё-таки я бы их всех в тюрьму засадил! На целый год!

— Кого ты собираешься покарать? — удивился Фёдор Максимович.

— Всех, кто живёт в Карповке.

— И стариков с детьми?

— Тем более! Старикам я бы назначил два года высылки в пустыню Сахару, а всех школьников перевёл бы на один класс ниже.

— Я тоже, — согласилась с Анкудином Ганночка. — Не в тюрьму, конечно, а штраф со всех!

— Ребята, я упустил это событие, что случилось в Карповке? — спросил пчеловод.

Староста третьего класса Василиса подняла руку.

— Фёдор Максимович, в Карповку пришла белка, жители всей деревней белку прогоняли, а потом принесли ружьё и убили.

— Грустное дело. Объяснимое, но грустное.

— Я что-то не понимаю! — Наталья Иванова отодвинула в сторону тарелку с сотами. — Как это объяснимое?

— Поверье, — развёл руками Осколков. — Если в деревню приходит белка, случится пожар.

— Двадцать первый век на дворе! — Владимира Фёдоровича удивил этакий пережиток старого времени.

— Когда я вырасту, — сказал Анкудин, — в нашем Кречетове люди будут жить, как живут в Джуно и Николаевске.

Фёдор Максимович объяснил гостям.

— Анкудин тоже Осколков, они с мамой в апреле побывали у родственников на Аляске. Расскажи, Анкудин, про Аляску, что у них лучше нашего?

— У них около смотровой площадки, перед ледником, два ручья, оба широкие и оба перегороджены плотинами бобров. А над этими ручьями — мостики на высоких столбах, на деревянных. Люди приезжают смотреть, как медведи лососей ловят. А на тропе, которая ведёт к леднику, вернее возле тропы — большой камень, скала. На скале надпись. Жители Джуно любят и помнят волка Ромео. Волк дружил с собаками, не убегая от людей, но приезжие охотники убили Ромео. Люди о волке скорбят, а злых охотников посадили на три года в тюрьму. А ещё можно с корабля посмотреть на китов. Я видел два хвоста и видел, как киты показывают спины, фонтаны видел, котиков видел на красном буйке. Видел бизонов, когда ехали в Николаевск к моей прабабушке, а там видел одного медведя, а в Джуно медведицу с тремя медвежатами, видел много оленей по дороге в Николаевск, а в Джуно косули дорогу нам перебежали. Там орлы с белыми головами, там огромные вороны. И я видел индейцев, которые орлы, и других, которые вороны. Но были индейцы-лососи, кижучи... Я видел медвежью вонючку. Похожа на початок кукурузы, медведи от спячки просыпаются и едят, чтоб желудок очистить. Видел мальков чавычи в огромном бетонном бассейне. Чавыча — это первый сорт лосося, вернее разновидность... Я Гренландию сверху видел, лёд Ледовитого океана, а на льду ветер снегом рисовал зверей. Видел настоящий русский дом, многих русских людей, хотя они живут на Аляске. Я видел... я видел...

— Передохни, — сказал мальчику Фёдор Максимович. — Я покажу кружку, какую ты привёз.

— Но я видел памятник собаке. Собака приходила встречать корабли. На пристань. Она не пропустила ни одного корабля.

Лицо у мальчика с серебряной головой от волнения стало красным, голова сияла.

— Ребята, мои московские гости привезли торт. Думаю, нам всем достанется по кусочку.

Фёдор Максимович достал из холодильника внушительную и очень красивую коробку.

Торт резала Наталья Ивановна, а за столом разговоры шли самые серьёзные.

Неудачливый медовед Велемир стал рассуждать о существах, населяющих землю.

— Звери, птицы, рыбы, люди — это всё высшие творения, потом змеи, лягушки, потом насекомые, всякие одноклеточные... Потом вирусы. А я думаю, есть мир существ, которые в тысячи раз мельче вирусов... Это и есть параллельные миры.

— Подожди, Велемир, — попросил Фёдор Максимович. — Я кружку покажу.

Кружка была из толстого фаянса, белая. На одной стороне — деревянная церквушка с крыльцом, с одним куполом, с колокольней. На другой стороне — крест, а вокруг — надписи, сверху крупно:

— «Святой Николас — русская ортодоксальная церковь», — прочитал Осколков. — А это даты: поставлена церковь в 1894 году и какие-то знаменательные — 1973, 1977, 2006-й.

— Эта церковь в Джуно, — сказал Анкудин. — А в Николаевске живут русские люди, они все там старообрядцы. И моя прабабушка тоже. У них вера как у нас, только очень строгая.

— Продолжай, Велемир, ты говорил интересно! — попросил Фёдор Максимович.

— Я не верю, будто коровы и медведи умнее мышей и крыс, — сердито сказал Велемир.

— А дельфины умнее нас? — ехидно спросила староста Василиса.

— Дельфины умнее селёдки, а вот медузы, может быть, умнее всех. Они самые древние обитатели земли.

— По-твоему выходит, человек не венец творения? — вступил в спор Фёдор Максимович. — То, что медуза древнее человека, Библия согласна. Но у медузы нет души, душа — величайшее исключение из всего живого мира. Одушевлённый во Вселенной один только человек!

— Термиты, муравьи, пчёлы разумнее человека! — сказала Ганночка. — Они не делают больно Земле.

— Многие из стражей медовых рек признают царства муравьёв и пчёл! — отрезал Велемир.

Наталья Ивановна объявила:

— Берите торт. Муравьям такая вкуснятина даже не снилась.

— У нас будет не жизнь муравьиная, — сказал Велемир. — У нас будет муравьиное единство.

— А я человек-пчела! — объявила Ганночка.

Фёдор Максимович не понял:

— Как это так? Что в тебе пчелиного?

— Очень просто. Пчела строит соты не по порядку и не по плану. Она кладёт соты в пределах рамки, но где попало, а потом всё это оказывается единым. Я в свою рамку буду носить сначала знания и постараюсь уметь делать всё самое главное для человека. Потом я, как муравей с большими челюстями, буду солдатом. Буду сражаться за правду на земле. Потом я буду, как смертоносная оса, убивать коррупцию. Потом побываю во всех краях земли, соберу мудрость всех народов, и мои соты займут всё пространство моей жизни. Тогда я наполню соты открытиями, важными для жизни на земле и в космосе. И это буду — я.

— Замечательно! — сказал Фёдор Максимович. — Я хоть уже много прожил, но постараюсь тоже соорудить свои соты, — и окликнул Анкудина: — Я гляжу, с тортом ты управился, чай выпил, вот и скажи теперь, что нам нужно перенять из жизни людей, живущих на Аляске.

— Я знаю что. У них в Джуно всего два завода. На одном пиво варят, на другом — растят мальков чавычи. Когда мальки подрастут, станут рыбками, их выпускают на волю. Мальки плавают по всему Тихому океану, а через семь лет возвращаются в Джуно, в бетонный свой дом, где родились. Мечут икру, дают жизнь своему роду, а их собственная жизнь заканчивается... И я подумал: наши люди, когда выучатся в школе, в институте, должны отправляться в путешествие, набираться всяческих знаний, а потом возвращаться со всеми тайнами разных народов и работать в своей стране, для своей земли.

Подняла руку девочка с красивыми веснушками на личике:

— За мёд и за чай, и за торт — спасибочки! Ребята умности говорят, но лучше всего

жить там, где родился, и быть человеком и ангелом.

— Ангелом? — удивилась Наталья Ивановна.

— Человек он человек — это мы, а вот ангелы умеют летать.

— А ты уже летаешь? — спросил Фёдор Максимович.

— Пока нет, но я учусь.

Никто не засмеялся. Летать всем хотелось.

— Я тоже обязательно буду летать, — сказал Анкудин. — На самолёте или в космосе. Сверху много чего видно. Например, какая у нас земля. Каких снежных зверей рисует на льду ветер. На земле мы не знаем, что ветер умеет рисовать. А сверху я это видел. Он художник.

Праздник закончили песнями, какие в Кречетове поют. Ребята ушли, унесли медовые подарки. Медовые подарки и москалям были приготовлены: плоские саквояжи, а в них по две рамки мёда. Ноша оказалась тяжёлая, а Осколков настаивал взять с собой к рамкам ещё три трёхлитровые банки. Убеждал:

— Такого нигде не купите! Здоровья на три года.

Мамонт

Сю стола убрали, часок отдохнули, и Осколков повёз селятинцев в центр Кречетова поклониться святому Иосифу.

Святого почитали в России и на Украине. Сын казацкого полковника, он молодым постригся в монахи, был избран игуменом Мгарского монастыря. Царица Елизавета Петровна, будучи в Киеве, распорядилась возвести мудрого игумена в архимандриты и определить настоятелем Троице-Сергиевой лавры. Через четыре года Иосиф получил епископскую кафедру. Стал владыкой Белгородским и Обоянским.

— А ты на Лысую гору чуть нас не определил! — укорила Осколкова Наталья Ивановна.

Мощи святителя покоились в Белгороде, в кафедральном соборе, а в Кречетове над могилой владыки возвели часовню. Восемнадцатый век. Узкие, высокие окна, между окнами — колонны, стены голубые, купол золотой, над куполом — куполок с крестом.

— Здесь молился мой отец, уходя на войну с германцем в 1914-м, — сказал Осколков. — Владыка услышал молитвы: отец получил два Георгия, орден Владимира с мечами. Офицерский.

За офицерство отца Федя и сидел с Владимиром Фёдоровичем в одном лагере. У него и дед офицер, в японскую воевал.

— Ты у нас белогвардейское отродье, а я подкулачник! — Владимир Фёдорович даже не улыбнулся.

— Черноглазая Оксана меня предпочла. Я был счастлив, душа комсомольская, кристалл. Вот и вступился на семинаре за офицеров, расстрелянных в Крыму. Соперник мой — буденновец, не потерпел вражеских разговоров, написал куда следует... Я — на Колыму, а моя Оксана с героем — в загс. У неё отец был диаконом. Запугал.

Дело с посадкой Феде Осколкова было странное. Он вступился не за всех беляков, а за молодых, офицерами стали в последний год германской войны, чины им давали за грамотность... Федя сожалел, что не было суда. А за отцом Феде, капитаном, числилась заслуга: спас от расстрела рабочих железнодорожного депо, но на сторону красных не перешёл... Бросил оружие, ходил по деревням, стёкла вставлял.

— Сколько судеб поломано, сколько уничтожено искренних талантливых русских мальчиков! — погоревала Наталья Ивановна.

— Бог жизнь даёт! — обнял друга Владимир Фёдорович. — На меня бомбы падали, деревья, ножи сверкали у самого горла, охрана затвор передёргивала — жив.

Поехали домой, поставили обед разогревать. В креслах сидели у открытой двери в сад.

— Твой отец, русский воин, стёкла вставлял. Мой ящики в магазине расколачивал. А говорят, был знаменитым садоводом в Переславле-Залесском. Мы с мамой его расторопностью уцелели в блокаде. Разбомбленные склады дали нам еду. Сахарный песок в мусоре — всё-таки сахарный... Но отец спас нам с матерью жизнь ещё раз, когда из блокады вырвались... Есть такая станция — Буй. В Бую для блокадников обед приготовили. Каждому по тарелке куриной лапши с хорошим куском

мяса. Мама за ложку, я, чтоб время не терять, из тарелки хлебнул... Тут отец по столу ладонью — хлоп! Тарелки у меня, у мамы отобрал, официанта попросил принести две пустые и разделил свою порцию на троих. Вкусно было очень, и очень мало, но в поезд сели, а на следующей станции из нашего вагона вынесли шесть трупов.

— Давайте всё-таки выпьем за нашу очень и очень большую жизнь! — Федя принёс драгоценный коньяк — подарок Владимира Фёдоровича.

— За что же выпьем? — спросила Наталья Ивановна.

Федя Осколков сверкнул весёлыми глазами.

— За мамонта!

— За мамонта! — рассмеялась Наталья Ивановна.

Владимир Фёдорович и Фёдор Максимович были уже ценные инженеры «Гидромонтажа», оба женаты, получали большие деньги, и было за что. Сооружали объект на берегах Ледовитого океана.

Лето, негаснувший день, мерзлота вечная. Копнули — мамонт. Целёхонький.

На обед рабочие партии Хохай и Омалька принесли свежее мясо. Не оленина, всем надоевшая. Нежирное, вкусное. Мамонт. Рискнули, с неделю питались доисторическим существом. Огромная туша разошлась по стойбищам.

— Знаете, что это такое — омалька? — спросила Наталья Ивановна. — Морошка по-ихнему.

— А Хохай?

— Не сказали.

Фёдор Максимович подошёл к стеллажу с книгами, открыл шкатулку, достал золотисто-белое украшение: птица-женщина с распахнутыми крыльями, грудь высокая, но в то же время это вроде бы и сова. Полярная. Вместо глаз — алмазы.

— Из бивня. Подарок моей Нойке от стойбища... — протянул Наталье Ивановне. — Прими.

— Это святое и твоё, — не согласилась Наталья Ивановна. — Я тоже с нашим мамонтом не расстаюсь.

На чёрном шнуре на груди у неё — неброская прекрасная роза.

— Хохай резал.

— Нойка! — вздохнул Владимир Фёдорович.
— Другой такой хохотуньи не видывал.

Осколков положил крылатую женщину перед собой на стол.

— Помянём всех наших!

Нойка была его жена. Из местных, красоты какой-то счастливой, озорной и такой серьёзной.

Помянули ушедших.

— Давайте ещё рюмочку за наш Байкал! — предложила Наталья Ивановна.

— Байкал! — развёл руками Осколков.

Владимир Фёдорович сказал:

— Байкал всякий день у меня перед глазами.

В нашем подъезде водолаз Иван. Ты его знал.

— Как не знать. Ты ставил ему избу на льду, а мы избу камнями загружали, утопить надо было на сорок восемь метров, не выше — не ниже.

Пошли на реку с кувшинками попрощаться — утром уезжать.

А кувшинки уже под воду ушли — вечер.

— Хорошая у вас земля, люди хорошие.

Лицо у Владимира Фёдоровича было мечтательное и грустное.

— Вот что значит один человек, — сказал Осколков. — Губернатор наш золото. Без народа, конечно, жизни не бывает, но народ любит, когда о нём думают. Отвечает благодарно.

Утром возле чемодана стояли рамки с сота-

ми — тяжеленные, три банки целебных медов, тоже тяжеленные.

— Фёдя! У нас с Владимиром Фёдоровичем на двоих четыре руки! — рассердилась Наталья Ивановна.

— Кречетов не село, не город, но наши люди всегда в нужном месте в нужный час! — Осколков поцеловал руку грозной женщине.

... Поезд тронулся, и прошлое, вернувшееся к ним на трое суток, побежало вспять, к себе.

В Москве пассажиров, прибывших из Кречетова, встретили два бравых молодца. Посадили в машину, отвезли в Селятино.

— Ай да Осколков! — изумлялся Владимир Фёдорович. — Нужные люди у него в нужном месте в нужный час.

Окончание следует

□

Владислав Анатольевич БАХРЕВСКИЙ —

прозаик, поэт, детский писатель, драматург, публицист, критик.

Родился в 1936 г. в Воронеже.

Окончил педагогический институт в Орехово-Зуеве.

Автор более ста книг для взрослых и детей.

Первая его книга — «Мальчик с Веселого» — была издана в 1960 г.

Наиболее известны его исторические романы: «Василий Шуйский», «Смута»,

«Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и др.

Многие произведения писателя адресованы детям:

«Дядюшка Шорох и шуришавы», повести «Агей», «Голубые луга», «Скиф и грек», «Кипрей-Польхань», «Солдат-орешек», «Повелитель пампы» и т.д.

Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества (1968),

Всероссийской премии «Капитанская дочка» (1997),

премии им. Александра Грина (2005),

литературной премии журнала «Север» (2013) и др.

Член Союза писателей России с 1967 г.

